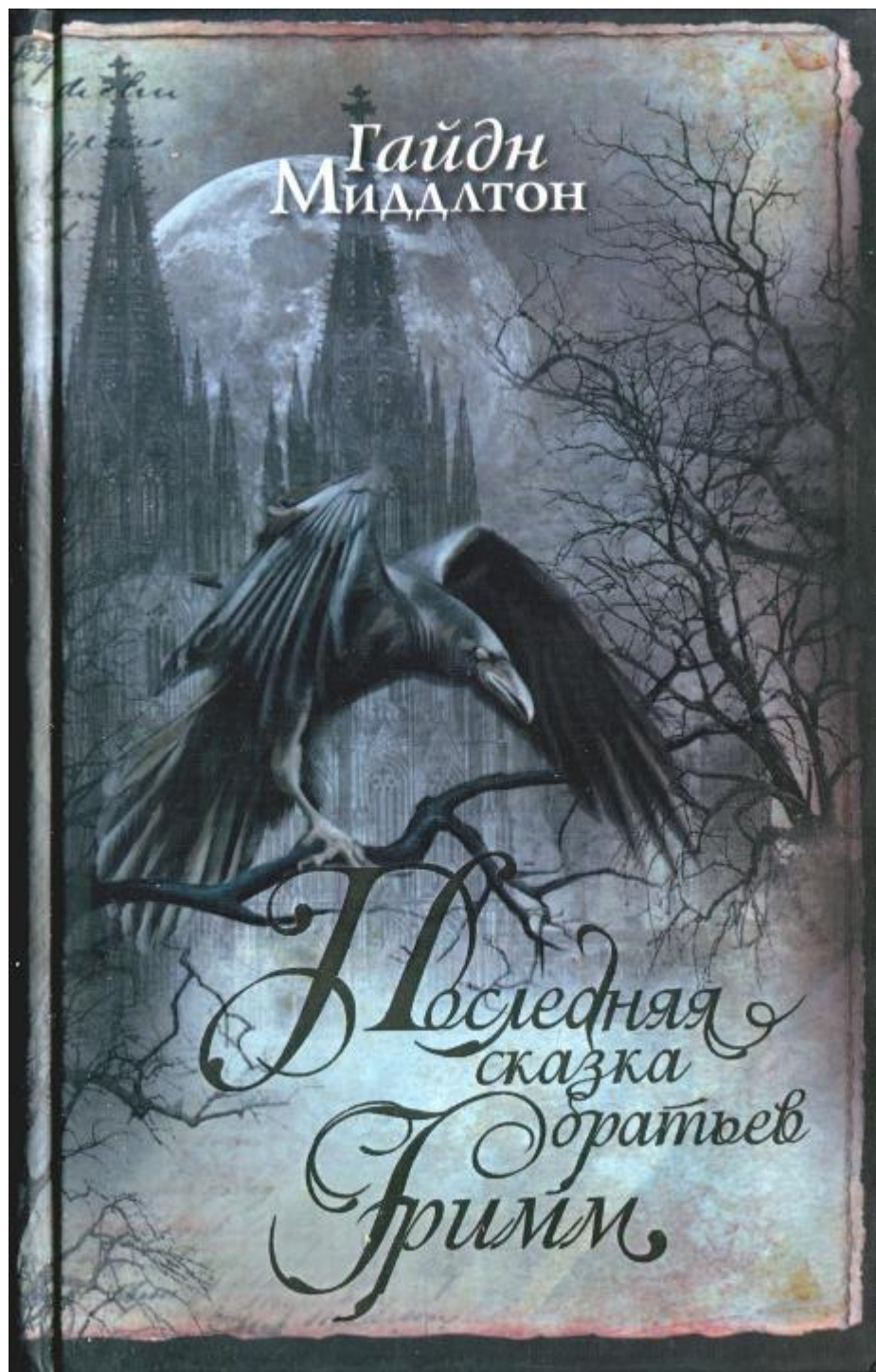


Гайдн Миддлтон
Последняя сказка братьев Гримм



Гайдн Миддлтон «Последняя сказка братьев Гримм»: Астрель, Полиграфиздат;
Москва; 2012
ISBN 978-5-271-37853-9, 978-5-4215-2972-9

Аннотация

В сентябре 1863 года Якоб Гримм вместе со своей племянницей Августой, которая стремится узнать всю правду о своей семье, и Куммелем, слугой со странностями, путешествует по Германии. Отношения между всеми тремя далеки от идеальных, а потому Якоб особенно охотно предается воспоминаниям о пережитом и о собранных ими с братом Вильгельмом сказках, в которых как в зеркале отразилась жизнь германских земель и их история. И хотя Якоб противится просьбам Августы написать свою богатую событиями биографию, подавляемые им воспоминания постоянно возвращаются и прорываются в реальную жизнь.

Гайдн Миддлтон Последняя сказка братьев Гримм

Моим детям и моим родителям

Некогда Германии не существовало.

Веками немцы проживали в небольших княжествах, герцогствах и королевствах; некоторые были столь малы, что поговаривали, будто один принц случайно выронил свои владения из кармана и потерял навсегда. Не такой была воинственная Пруссия со столицей в Берлине.

А за пределами той карты, где начинался век железных дорог и заводов, простиралась другая Германия: бесконечная земля сердца и разума, полная мрачных лесов и порой еще более мрачных сказок.

Пролог

С большого расстояния сосны были похожи на гигантскую морскую волну, которая поднимается от стен небольшого города. Лунными ночами, когда дул легкий ветерок, он зачарованно смотрел, как колышется эта волна, будто в час могучего прилива. Потом смотрел на вязы подле ратуши, буки на рыночной площади и одинокое персиковое дерево, что покачивалось у его собственного окна, как выброшенный за борт тонущий груз.

В детстве ему запрещали уходить далеко в лес, но он часто отправлялся собирать валежник на опушках. Он любил бывать там в час, когда заходящее солнце быстро угасало и его огненный диск попадал в ловушку под пологом леса. Ни одному художнику не доводилось смешивать цвета, какие ему довелось там наблюдать.

Теплые лучи и пятна сияли на густой подстилке торфяного мха. Опаловые кустарники ловили искорки от раскачивавшихся выющихся растений.

В буйных зарослях лощины охру сменял золотисто-каштановый, янтарь — медь, изумрудный — оливковый, который темнел до шалфейного оттенка, пока чернота ночи не поглощала последние тлеющие красные угольки.

И над лесной красотой, как призыв сирены, звучала тишина. В самой чаще, по словам одной старушки с его улицы, было так тихо, что можно было слышать биение собственного сердца. Неподвижные деревья внимали ему, и от этого он слушал еще напряженней, веря лишь собственным ушам.

Там он впервые ощутил слабое беспокойство: что-то сухо, настойчиво пощелкивало в пучине листьев и иголок. Какое-то время этот звук напоминал ему маятник. Затем он становился похож на отдаленный стук каблуков по камням — еще, еще, еще — пока наконец тишина не поглощала его.

Спустя годы он уже не слышал этот звук. Но как бы усердно ни пытался забыть о нем, у него ничего не получалось.

Сентябрь 1863 года

Глава первая

Они прибыли в Ганау в сумерках, но не сразу отправились в гостиницу. Куммель полагал, что профессор Гримм хочет поскорее добраться до номера. Но его племянница с озорной улыбкой повела их вниз, мимо ратуши, по узкой улочке, на которой стояли дома с остроконечными крышами и массивными деревянными дверьми.

Куммель шел за своими спутниками на расстоянии десяти шагов, изредка опуская чемоданы на мостовую, чтобы перехватить их поудобнее или поправить на плече ремешки от шляпных коробок фрейлейн Августы. Багаж потяжелее и не особенно ценный отправили к месту ночлега в повозке. И все равно двадцатипятилетний слуга, мечтавший поскорее покурить, с удовольствием обошелся бы без этих бессмысленных петляний по улицам.

Они постороились, чтобы пропустить телегу, запряженную бычком. Кроме водоноса и нескольких покуривавших мужчин, в желтоватых сумерках никого не было. Фрейлейн вертела головой, как заводная кукла в кринолине, на что-то указывая, кивая, задавая профессору невнятные вопросы. Они шли рядом в своей обычной манере, не касаясь друг друга, будто опасаясь случайных соприкосновений рукавами на публике.

Наконец пара остановилась перед добротным домом, отличавшимся от других лишь ярко-желтой дверью. К дому вели ступеньки, и Куммель ожидал, что кто-нибудь из них поднимется и постучит, а потом велит ему следовать за ними или ждать. Но никто не двинулся к двери, и он поставил чемоданы, запахнул поглубже серый сюртук, некогда принадлежавший покойному отцу фрейлейн, и перехватил поудобнее ее шкатулку с украшениями, прикрепленную цепочкой к его запястью.

Его временные хозяин и хозяйка тихо обменялись несколькими словами, разглядывая дом, будто о чем-то сговариваясь. Куммель вдохнул крепкий сельский запах древесного дыма, сырого сена и навоза и огляделся. Это ничем не напоминало прямые, как стрела, улицы Берлина с разгуливающими по ним солдатами и грохотом дрожек, но за время своих вынужденных путешествий он исходил много глухих местечек. У всех таких домов есть дворик для домашней живности: кур, гусей, возможно, свиней. Здесь, наверное, до сих пор приглашают пастора к заболевшей корове, надеясь, что после его благословения ей полегчает.

Профессор первым повернулся и вновь двинулся в путь. Для человека почти восьмидесяти лет он был очень подвижен. Во время отпуска за две предыдущие недели, проведенные в горах Гарца вместе со всей семьей, он отказывался пользоваться тростью даже на самых крутых подъемах. Вот и теперь он шагал, наклонясь вперед и энергично помахивая правой рукой. Фрейлейн медленно отошла от дома с желтой дверью и неторопливо тронулась дальше, сконфуженно улыбнувшись Куммелю.

Наконец они прибыли в скромную гостиницу, и хозяин — усач, плотный и круглый, как бочонок для сельди, и почти такой же маслянистый — собрал в зале всю челядь, чтобы торжественно представить почетному гостю. Тем временем Куммеля отправили на второй этаж, где гостям предоставили смежные комнаты. Его собственная представляла собой закуток с низкой кроватью на колесиках. В комнате стоял резкий запах уборной, но одну ночь можно было как-то перетерпеть.

Поставив чемоданы, он поглядел через перила на швейцаров и прислугу. Кое-кто из них грыз редиску, пока хозяин перечислял книги, написанные досточтимым Якобом Гриммом. Работы о языке, литературе, праве и истории, но главное — знаменитые «Сказки для молодых и старых», созданные им вместе с братом Вильгельмом, а также незаконченный «Немецкий словарь», огромный, призванный охватить все многообразие немецкого языка. Оказалось, что Якоб еще и политик: член злосчастного Национального собрания 1848 года, а за десять лет до этого — один из «прославленной Геттингенской

семерки»: Куммелю показалось, что так называется одна из сказок.

Профессор с ястребиным лицом терпеливо слушал. Он наверняка привык к таким шумным приветствиям, но выглядел смущенным. Внешне он производил впечатление крайне хрупкого человека: маленький, согбенный и худой, кольца седых волос падали на плечи, согнутые ноги, казалось, едва держали тело, и несмотря на весь его ум голова с высоким лбом, наполеоновским носом и впалыми щеками казалась совсем маленькой.

После вежливых аплодисментов его лицо озарила теплая улыбка.

— Так приятно снова оказаться в моем любимом Гессене, — проскрипел он, откидывая назад полы сюртука и рассматривая курдский коврик под ногами. — Благодарю вас за теплый прием.

Когда толпа рассеялась, хозяин спросил, не желают ли гости немедленно отобедать. Куммель заметил, как профессор усмехнулся.

— Хм, сначала мне нужно помыться и переодеться. Мы провели большую часть дня в клубах паровозного дыма и пыли из-под конских копыт. Если не возражаете, мне нужна горячая вода.

Хозяин отдал распоряжения слугам, и Куммель вернулся в переднюю профессорской спальни, чтобы закрыть окна и задернуть грубые полотняные шторы. Старик определенно любил чистоту; в Гарце он частенько купался дважды в день. Куммель заметил, что иногда, очнувшись от дремоты, он отряхивает руки и даже манжеты, словно желая смахнуть с них какую-то грязь.

При свете лампы, чадившей на столе, Куммель распаковывал вещи, когда вошел профессор. Куммель взглянул на него и увидел, что тот снял сюртук, положил его на продавленную кровать, в задумчивости остановился перед овальным зеркалом, закрепленным на шарнирах на золоченом столике. Казалось, он недоволен увиденным.

Хоть он был стар, он очень многое замечал. Осознав, что за ним наблюдают, покосился на дверь.

— Я ужасно грязный, Куммель, — улыбнулся он, касаясь кончиками пальцев галстука, осматривая руки, словно ожидая увидеть на них сажу, и покачивая седой головой. — Мой бог, меня можно принять за турка!

Из своей ванны Якоб мог видеть всю душную комнату. У Мари был один кувшин, у Гретхен второй. Пока одна горничная наливала подогретую воду, вторая понемногу подливала молодое вино, подогретое на печке.

— Можно я выпью вина, мам? — завопил Якоб, привлеченный сладким запахом, помешал вино рукой и прижал пальцы к губам, притворяясь, что слизывает капли.

— Вытри руку, дитя, — отозвалась мать с низкой скамеечки возле печки. — Или ты хочешь кончить свою жизнь, как бедный Вилли со слабыми легкими?

Якоб вновь окунул руку и дождался, пока мать улыбнется ему одними темными глазами. Но ее внимание было уже приковано к младшему брату (их часто принимали за близнецов), только что выкупанному и устроившемуся на ее пухлых коленях. Она расплела его косичку, разгладила волосы и осматривала кожу в поисках вшей. У Якоба начинала зудеть голова, когда он на это смотрел. Его очередь наступала позже — несколько дней блаженной передышки.

— Еще вина, Гретхен! — крикнул он, подтягивая коленки к груди. Он смотрел, как летели брызги, и завопил от восторга, когда служанка вылила остатки ему на плечо.

— А теперь сказку, сказку, сказку! — твердил маленький Вилли хриплым задыхающимся голосом.

— Сказку, сказку, сказку, — отозвалась мать с усталой усмешкой.

— Сказку! — вопил Якоб из ванны. — Ну, пожалуйста, мама, пожалуйста!

Он мельком увидел, как блеснули ее зубы, когда она улыбнулась из-под тяжелой волны густых распущенных волос. Зубы и сказки, всегда зубы и сказки. Когда она рассказывала сказку, Якоб видел ее рот так близко, что ему чуть ли не казалось, что он в нем сидит.

— Какую сказку? — спросила она.

— Мясник! Мясник! Мясник! — Вилли всегда выбирал одно и то же.

— Что? Опять про мясника? — дразнила она, раздавливая вошь о ножку скамейки. — Не знаю, как мне удастся снова рассказать про этот ужас.

— Да, про мясника! — просил Якоб, шлепая ладонью по воде. И как только он это сказал, Вилли затаился, и прежде чем мать отбросила назад волосы и промурлыкала первые волшебные слова, глядя в потолок, детская комната преобразилась. Она стала покойнее, просторнее, древнее...

— Давным-давно, когда все желания исполнялись... — Она сделала паузу, чтобы немного их помучить. Якоб чувствовал, как их с братом дыхание улетает в глубокую тишину, от которой застывают служанки с кувшинами, вши в волосах, кучка птичьих перьев на столе у окна, — все-все — ровно на то время, пока она молчит. — В далекие времена, — продолжала она, а глаза Якоба следили за ее губами, — один человек зарезал свинью, а за ним наблюдали его дети. Потом, когда дети стали играть...

Братья знали эти слова: *«Ты будешь поросенок, а я — мясник»*.

— И тут, — она убрала руки от головы Вильгельма и сложила их на коленях, — первый ребенок взял нож и вонзил второму в шею.

— Боже милосердный! — выдохнула Гретхен, потянувшись рукой к горлу, и братья зашикали на нее, чтобы она замолчала.

— А их мать, которая была наверху, — широко раскрытыми мерцающими глазами она посмотрела через всю комнату на Якоба, — купала младшего в ванне. Она услышала крики и сбежала вниз. И когда увидела, что произошло, она выдернула нож из шеи ребенка и в припадке ярости вонзила его...

— *В сердце ребенка, который был мясником!*

Она кивнула.

— Затем она бросилась обратно в дом, посмотреть, что делает ребенок в ванной.

— *Нет, о, нет!* — взвизгнула Мари.

— Ш-ш-ш! — зашипели оба брата, и Якоб поглубже опустил в воду.

— Но к тому времени ребенок уже утонул. Женщина была так потрясена, что впала в отчаяние, и несмотря на то, что слуги пытались ее утешить, повесилась. А потом...

Мама вновь остановилась: это удивило Якоба. Мурашки бегали по его плечам и коленям, он был готов к финалу, но она так пристально смотрела на него, сжав губы, что он открыл рот и услышал конец истории из собственных уст:

— А потом, когда муж вернулся с поля и увидел все это, он был так убит горем, что умер на месте от разрыва сердца.

Она довольно кивнула.

— Вот моя история, — заключила она. — Я ее рассказала и оставляю вам. — И ее лицо озарила прелестнейшая, нежнейшая улыбка, и бедный задыхающийся Вилли потянулся и схватил ее за руки, наполовину от испуга — наполовину от восторга.

Якобу нужно было долить горячей воды в ванну. Хотя он ухмылялся и щеки его покраснели, мурашки бегали у него по спине. Они не пропали даже после вылитого в ванну кувшина горячей воды. Он сжимал зубы, чтобы унять дрожь. Проговорив последние слова, он чувствовал, как они прошли сквозь него, оставив во рту странный, почти торфяной привкус.

— Ты хорошо говорил, Якоб, — сказала мать. — Скоро и сам сможешь рассказывать нам истории, не так ли?

— Нет, нет, нет! — протестовал Вилли. — Мальчики не рассказывают сказки. И мужчины тоже. У нас ведь нет папы Гуся! Только служанки и мама!

Эта короткая реплика потребовала от него такого напряжения, что он тут же разразился отрывистым кашлем. Мать улыбнулась, взъерошила его волосы, избавленные от вшей, и крепче прижала к себе, пока спазм не прошел.

Якоб сжался в ванне.

— Можно мне вылезать, мам? — спросил он.

— Вылезать? — фыркнула сзади Мари. — Ты еще очень грязный. Если б я не знала, кто ты, я приняла бы тебя за турка!

После ужина профессор удалился в свою комнату «колоть дрова». Так он называл свою работу над огромным словарем, выделяя ее среди других, менее монументальных трудов. Еще в Берлине Куммель помогал восторженной племяннице Гримма упаковывать материалы, касающиеся словаря, и другие документы, сборники народных сказок и романов, которые профессор тщательно просматривал в поисках новых слов. По ее словам, он корпел над словарем уже двадцать пять лет и теперь следил за работой более девяноста помощников.

— Ему это совсем не приносит удовольствия! — шептала она со смущенной улыбкой. — Поначалу он взялся за это лишь затем, чтобы обеспечить постоянный доход нашей семье. Мой дядя всегда был самым бескорыстным человеком на свете.

Фрейлейн вышла на веранду, выпить цикорного кофе, а когда появился Куммель с кувшином и стаканом, быстро присела возле зеленой с золотым обрезом книги, которую читала еще в горах Гарца.

— Приятный вечер, — приветствовала она его с улыбкой, — хоть и влажно. Зато дождь мы, кажется, оставили в горах.

У нее была почти английская одержимость погодой. В Гарце Куммелю доводилось слышать, как она подолгу обсуждала эту тему с мамой, братьями и золовкой. Она с одинаковой энергией говорила о пейзажах, живительном воздействии воздуха, даже об одежде, которую следует надеть на следующий день. Куммелю такие разговоры представлялись бессмысленными, однако предыдущая хозяйка однажды надменно пояснила ему, что *«прислуга болтает о людях, а благородные люди обсуждают вещи»*. Он налил фрейлейн кофе, но она его не взяла.

— Нам надо помолиться, чтобы завтра снова не было дождя, — сказала она. — Профессор хочет прогуляться по холмам. Я думала, мы сможем отправиться в путь вскоре после завтрака: по плану мы должны прибыть в Штайнау около полудня. Знаете, Куммель, в Гессене есть красивые места! Уверена, вам там понравится. — Она улыбнулась и продолжала, словно цитируя новый «Бекедер», модный путеводитель: — Штайнау меньше, нежели Ганау, и воистину прелестен. Затем Марбург, где мы должны быть в пятницу, великолепный университетский городок на холмах. И наконец Кассель с величественными парками и замком.

Она посмотрела мимо него на очертания невысоких холмов, по которым они гуляли утром. Гюстхен — так любящий, но не выдававший своих чувств дядя звал маленькую Августу. Хотя у нее была с собой шаль, на ней был вечерний жакет в тон бордовому платью, на котором выделялись ее тонкие руки. Каштановые волосы собраны на затылке в красный вязаный шиньон, и из-за него ее бледное лицо казалось старше.

По мнению Куммеля, это лицо с мелкими тонкими чертами, в свете масляной лампы смутно напоминавшие черты профессора, выглядело привлекательнее в шляпке без полей. Так она казалась гораздо моложе. Куммель был весьма удивлен, когда узнал, что день рождения, который она отмечала в горах, был у нее уже тридцать первым.

Не понимая, чего она хочет: чтобы он ушел или остался, — Куммель взглянул на лесистые холмы, которые, казалось, придвинулись в кромешной темноте, слегка скрашенной звездами. Высоко в небе яркий осколок луны играл в прятки с легкими облаками, а звезды сияли, как осколки хрусталя. Он слышал, как в столовой слуги накрывали к завтраку. Если завтра они выйдут рано утром, ему необходимо вернуться на кухню, собрать корзину со снедью. Сам он не ел с полудня. Стакан светлого пива, тарелка с недоеденными шницелями и трубка ждали его в той вонючей каморке.

— Вы же понимаете, почему мы здесь, Куммель, не так ли? — внезапно спросила фрейлейн.

Он посмотрел сверху вниз: в ее обычной приветливой улыбке сквозила досада.

— Конечно, фрейлейн. Вы привезли профессора посмотреть места, где он когда-то жил.

Она кивнула, и ее заблестевшие глаза вновь устремились на далекую горную гряду.

— Важно, чтобы дядя получил удовольствие от этой поездки. В свои преклонные годы он заслуживает несколько приятных дней, и я хочу, чтобы он их полноценно прожил. И мы с вами, Куммель, должны позаботиться о том, чтобы ему было хорошо — но, боюсь, некоторые все же ему докучают. Однако Гессен — его дом. Работа и обязательства по отношению к семье долго вынуждали дядю жить вдаль, но сердце его оставалось здесь. Здесь он вырос, здесь стал таким, какой он сейчас.

— Да, фрейлейн, я понимаю, — сказал Куммель, удивленный тем, что она так откровенно говорит со слугой.

Он догадывался, что она, такая обычно разговорчивая, непременно заскучает, праздно слоняясь по вечерам, ведь в последние две недели профессор уединялся, чтобы поработать. Возможно, именно поэтому ее мать, фрау Дортхен, замечательная маленькая семидесятилетняя женщина, так настаивала, чтобы Куммель сопровождал их в поездке.

В последнюю ночь на водах в Гарце он подслушал перебранку между женщинами. Куммель был уверен, что в желании фрейлейн не брать с собой слугу не было ничего личного. Она относилась к нему очень вежливо с тех пор, как он появился в их доме: его хозяева в Шарлоттенбурге одолжили своего слугу семейству Гриммов на лето. Но Августа явно хотела одна находиться в обществе профессора в эти пять дней, и Куммель не мог понять, почему. Он наблюдал, как она смотрит на дядю — нетерпеливо, почти жадно: ей явно было что-то нужно от него.

Она подобрала шаль и набросила на плечи.

— Мы проведем две ночи в Касселе, прежде чем вернуться в Берлин, — сказала фрейлейн, оживляясь. — На второй день, в воскресенье, я попрошу вас зайти за профессором. Я собираюсь устроить небольшую вечеринку, сюрпризом, но его нужно будет занять, пока она не начнется.

В этот момент фрейлейн была больше обычного похожа на старика профессора. Ее глаза лучились озорством, как и его глаза, когда в ворохе бумаг он находил слова, которые ему особенно нравились. Но вскоре ее взгляд вновь сделался непроницаемым.

— Это пока все, Куммель, — сказала она. — До свидания.

Ее кофе остался нетронутым. Куммель замечал, что с неделю она почти не ела. С раздраженной улыбкой она отвернулась, изучая далекие деревья так сосредоточенно, будто ждала от них какого-то знака.

Глава вторая

Жила-была бедная женщина, у которой было очень много детей. Люди считали ее мудрой и приходили к ней со всей округи за исцелением и советом. Она была замужем за ночным сторожем, дежурившим в сторожевой будке их маленького городка. Он часто не являлся домой на рассвете, спускал в азартных играх деньги, которые зарабатывал, и пропивал то, что выигрывал.

Хотя у женщины было восемь детей, она никого из них не называла по имени. Малыш, Озорник, Девочка — говорила она. Единственным ребенком, к которому она обращалась по имени, был первый: Фридрих, он родился первым и первым умер, еще до того как она родила второго. Горожане шептались, что после Фридриха она боялась слишком привыкнуть к своим деткам. Она словно держала их на расстоянии, надеясь так сохранить им жизнь. Но двое из восьми все равно умерли. Исчезли без следа, как и Фридрих.

Из шести оставшихся некоторые были для матери большим бременем, чем остальные. Больше всех и без пререканий ей помогал старший, которого она так и называла — Старший. Он делал в их крошечном домике всю работу, которую должен был выполнять отец:

сколачивал и чинил мебель, спорил с заимодавцами. По воскресеньям он созывал младших и играл с ними в войну, и его кампании всегда были хитроумно спланированы.

Старший последним ложился спать и первым вставал в переполненной спальне, где дети спали в ряд. Часто вздохи и храп других детей так ему мешали, что еще затемно он одевался и выходил во двор, смотреть, как над лесом поднимается солнце.

Деревья на высоком горизонте выглядели плоскими и густыми — большая блестящая клякса в солнечном свете. Он помнил, что где-то далеко отсюда, на скале, поросшей соснами, высится великолепный дворец Розового Короля. Когда он был маленьким, мать много раз рассказывала ему о пире в том дворце. Он был уверен, что одному ему говорила она об этом. Может, даже отец не знал. Тогда ее лицо становилось таким красивым, каким могло бы быть при других обстоятельствах. Если ее жизнь была как устрица, набитая грязью, то один день, проведенный ею во дворце, был сияющей жемчужиной в недрах этой устрицы, и даже годы спустя блеск этого дня озарял ее глаза.

Когда он спрашивал, как ее туда пригласили, она объясняла, что из каждого округа звали одну мудрую женщину. Не зная ничего о традициях королей, Старший больше ни о чем ее не спрашивал. Он догадывался, что некогда, по неотъемлемому праву, она пиновала за одним столом с лучшими людьми, и не хотел напоминать ей, как низко она пала. Иногда, когда бралась прясть лен, чтобы хоть немного заработать, она вздыхала:

— Знаешь, есть ведь и другие миры.

Но Старший ничего не знал не то что о мирах, — о мире. Он даже не знал, был ли все еще их властелином Розовый Король. По слухам, он сошел с ума от отчаяния, и двор покинул то место, где поднималось солнце, и теперь великан заманивал в заброшенный дворец детей и поедал их.

Старший точно знал лишь то, что большой праздник был устроен в честь рождения королевской дочери. А за несколько часов до танцев гости сели за обильное пиршество, и перед каждым лежал столовый набор в золотой шкатулке: нож, вилка и ложка из золота, в обрамлении бриллиантов и рубинов.

Он частенько задавался вопросом, почему мама не унесла свой набор с собой. Продав хоть один из драгоценных камней, она бы несказанно облегчила себе жизнь. Временами ему приходило в голову, что она не была на том пиру. И все же он верил матери. И ее взгляд, когда она говорила о празднике, трогал его так же, как когда она горевала о бедном Фридрихе: «Такой был маленький пухленький ребеночек, Старший! Такой толстенький, розовый и здоровый. О, как бы мне хотелось, чтобы он был сейчас со мной!»

Шли годы, и, хотя дети больше не рождались, жизнь в маленьком домике становилась все трудней. Отец приходил домой так редко, что младшие иногда не узнавали его, пока он ревом своей сигнальной трубы не напоминал, кто оказался среди них, пьяный и желчный.

Старший теперь работал и по ночам, доделывая то, что измученная мать не успевала выполнить за день. Остальные пятеро детей, которых он все еще считал малышами, бездельничали. А когда ему удавалось выкроить несколько часов для сна, он засыпал в нише городской стены, у сторожки, под грязным одеялом из лошадиной шерсти.

Ему нравилось слушать стук ботинок сторожа, когда тот проходил дозором по парапету у него над головой. Его успокаивала мысль, что отец охраняет его здесь, пусть даже в собственном доме он так гнусно обращается с семьей. Через просветы в стенной кладке он мог смотреть, как утром солнце оживляет лес. Временами он представлял, как отец вместе с другими сторожами охраняет город от подступающего леса. За прошедшие годы лес как будто подобрался ближе к городу, и каждую осень осыпающиеся листья в подлесках покрывали землю шуршащим золотистым ковром, особенно заметным, когда городские ворота открывались, впуская телегу или экипаж. Глядя на запад, Старший не столько думал о далеком дворце, сколько о том, каково это — забраться в гущу леса, и о том, какие там звуки и запахи, какой там *вкус*.

Однажды утром, когда он вернулся из своей ниши в стене, мать встретила его новостью. Она сидела у прялки, глядя в прикрытое тряпьем окно.

— У меня будет еще ребенок, — сказала она.

Старший не ответил, но попытался улыбнуться. Он знал, что жизнь уже не может идти по-прежнему. В доме уже не было места для еще одного человека. Но мать не открыла ему, как именно все изменится, пока не миновала неделя после родов.

Глава третья

К счастью, погода улучшилась. Сразу после завтрака Августа и ее дядя надели удобную обувь и вышли в яркий солнечный свет. Далеко к западу, за Франкфуртом, небо выглядело не так обнадеживающе, но Августа не сомневалась, что у них в запасе еще несколько часов, поэтому вручила Куммелю свой шелковый китайский зонтик от солнца, а не обычный зонт от дождя.

Двигаясь без остановок, они вскоре миновали маленький городок. Большинство мужчин собирали в поле урожай, и на улочках встречались лишь женщины, шедшие с покупками или сидевшие на лавочках. Время текло здесь медленнее, чем на востоке. Говорят, вне стен Берлина его жительница сама на себя не похожа. Августа уже поняла, что все больше скучает по прусской столице. Кружение вальса, поэтические вечера и походы в концертный зал, вереница нелепых воздыхателей, которых вечно подбирала ей мама; городской дым, движение, но больше всего — неизменный шум.

Зато эти мрачные пейзажи были целым миром для ее дяди, сама же она бы долго тут не выдержала. Они слишком напоминали ей о «другой Германии», о которой он рассказывал ей в детстве, — о земле мрачных лесов и еще более мрачных сказок. Дикая природа всегда заставляла Августу трепетать. Она испытывала неприятное чувство даже по отношению к Тиргартену в центре Берлина.

Профессор четко обозначил маршрут, каким им надлежало пройти. Именно так, по его словам, ходили они с Вильгельмом, когда были мальчишками, с тех пор как переехали из Ганау в Штайнау, когда ему было шесть. Теперь они взбирались по заросшему травой склону. Старик то и дело показывал ей травы: полынь, дудник, золотарник, вернонию. В остальное время тишину нарушало только его негромкое «Хех!» Иногда было продолжение: «Я вам говорил!» — или: «Я же говорил!» За этими фразами читался внутренний монолог — или, как догадывалась Августа, диалог с покойным братом, ее отцом, с которым дядя был неразлучен семьдесят лет.

Глядя на него, далеко их обогнавшего, она вспомнила, как, поддерживаемый братьями, Германом и Рудольфом, он шагал по склону кладбища на похоронах Вильгельма четыре года назад. Как беспомощно ссутулился, чтобы набрать горсть припорошенной снегом земли и бросить ее в могилу, на гроб. Он тогда покачнулся, и на лице его была гримаса, отдаленно похожая на гримасу обиды. После семидесяти лет легендарного стоицизма, он, казалось, готов был выказать самые глубокие чувства. Но как слуга в сказке, сковавший себе сердце тремя железными обручами, удержал чувства в узде — и тогда, и теперь, четыре года спустя.

Августа не была во власти иллюзий. Она понимала, сколь трудную задачу себе поставила, устроив это сентиментальное путешествие, как он будет сопротивляться самым деликатным вопросам, которые она хотела наконец ему задать. *Разговор всегда подождет*, приговаривал он. Но время уходило для самой Августы так же, как и для слабейшего старика.

Гримм обернулся, чтобы посмотреть на город внизу, и распорядился, чтобы Куммель, следовавший за ним на привычном расстоянии в десять шагов, распаковал и расстелил старый коврик. Августа села первой, обручи ее прогулочной юбки отказывались оседать. Дядя, как часто бывало, сел слева от нее, хотя правое ухо у него слышало хуже.

Куммель, наделенный даром предвидения, поставил зонтик, разложил яблоки, несколько ломтей черного хлеба, фляжку с водой и еще одну — с отменным шнапсом. Гримм налил воды на кусок хлеба, чтобы размягчить его, так как ему было трудно жевать.

Солнце, светившее на их шляпы с безоблачного неба, отражалось золотом и янтарем от

крыш внизу. Можно было сказать, что это сказочная деревня, хотя красильня и типография придавали месту не такой уж древний вид. Как у большинства немецких городов, где они побывали, у этого было долгое прошлое, прежде чем он выплеснулся за первоначальные границы. Появлялись новые улицы, а старые укрепления решили снести. Августе это казалось обнадеживающим: нет больше стен и сторожек — нет осад и артиллерийских обстрелов.

Под ее легким нажимом Гримм показал и назвал несколько важных мест: там был домик его дедушки Циммера; там — пекаря Шурко; а у той церкви на рыночной площади был позолоченный флюгер на шпиле. Он даже указал на дом с желтой дверью, в котором он родился и куда она водила его в первый вечер по их приезде. Разговорившись, упомянул, что некогда перед домом цвело красное персиковое дерево.

— Это, должно быть, выглядело красиво, — сказала Августа, вытирая яблоко об юбку, хотя есть его ей не хотелось.

— Да, — ответил он в некотором раздумье, — но природой там не предназначалось быть дереву.

После этого они вновь впали в молчаливое созерцание, отгоняя мух, прислушиваясь к настойчивым крикам дроздов в отдаленных полях, церковному колоколу, пробившему час, — и глухому стрекочущему шуму, который, быть может, звучал от усталости в голове у самой Августы. Она плохо спала, и голова отяжелела, ее клонило в сон. *Возвращаться в прошлое...* отзывалось у нее в ушах, как всегда, когда она позволяла своим оборонительным сооружениям пасть. *Ты — самый главный человек в моей жизни...*

Она попыталась сосредоточиться на небольших дымоходах внизу. Казалось невероятным, что их куренье возносится к тем же самым небесам, куда извергают свой дым огромные печи Рура и фабрики берлинского «Электрополиса». Казалось, они принадлежат к разным мирам. Несомненно, ее дядя смотрел на это иначе. Более полувека он призывал к объединению Германии. По мысли Августы, и у его книг была та же цель. Они показывали, что если единая немецкая культура уже существует, то государство должно последовать за ней, мирно объединенное «моральными завоеваниями». Но к его негодованию то, что он называл родиной, все еще, как и пятьдесят лет назад, оставалось разрозненным и уязвимым.

Когда вновь началось легкое стрекотание, Августа тряхнула головой. Шум постепенно утих. Она знала, что легкомысленно не думать о Немецком Вопросе. «История ничего не знает о тех, кто не знает ничего об истории», — говаривал ее дядя, но это был риск, на который она готова была пойти. Она не могла чувствовать ужасов, пережитых народом в Тридцатилетнюю войну и при наполеоновской оккупации. Даже недавняя реставрация Бонапарта во Франции не тронула ее, как и слухи о новых французских притязаниях на Рейн. А для ее дяди это была сама жизнь. «Надо мной скоро вырастет трава, — однажды сказал он в публичном выступлении. — Если меня еще будут помнить, я хотел бы, чтобы обо мне говорили, что я никогда ничего не любил больше, чем родину».

— Хех, — пробормотал он, кивая, и Августа улыбнулась.

Улучив момент, она переведет разговор к вещам, которые ее занимают, и попытается по меньшей мере расшатать обручи вокруг его сердца. Она должна это сделать ради них обоих, чтобы доказать, что существуют вещи, более достойные любви, чем родина. В конце концов, родина никогда не отвечает любовью на любовь.

Якобу нравилось писать письма, и он знал, что умеет это делать. За последний год, поощряемый отцом, он много раз писал дедушке в Ганау. Сперва описал Амтсхаус, великолепный новый дом семьи в Штайнау, с конюшнями, огороженным внутренним двором с башенками, который появился, когда отец получил должность окружного магистрата. Когда они с Вильгельмом подросли, он писал подробные отчеты о коричневых и желтых домах Штайнау, старом графском замке, окруженном рвом, и садах, поросших цветами, которые в разгар лета украшали ворота и стены извилистых улиц.

Сейчас, темным январским днем, когда дети спали после обеда, он сидел за столом у

окна, сочиняя благодарственное письмо дедушке Циммеру за подарки на восьмой день рождения: пенал с прекрасным английским карандашом и крупные вороновые перья, которые особенно хороши для тонких рисунков. Растянувшись рядом на полу, Вилли уже работал одним из них, выполняя наброски видов, которыми за последнее время пополнилась их коллекция насекомых и бабочек. Тишина в комнате, еще более глубокая из-за скрипа перьев и шума самовара в гостиной, была совершенно безмятежной.

Изложив местные новости и перебравшись на второй лист, Якоб подумал, что должен поделиться с дедушкой последним сообщением из Франции. Оно так его поразило, что он все еще не был вполне уверен, верить ему или нет...

— Ну, что ты рассказываешь дедушке на этот раз? — пророкотал голос от двери.

Якоб поднял глаза от стола и в оконном стекле увидел отца при всех регалиях: синий сюртук, красный воротничок, черные кожаные штаны, сапоги с серебряными шпорами. Отец был некрупным человеком, но форма делала его солиднее. Его слуга Мюллер стоял сзади, заплетая ему косичку.

Поворачиваясь на стуле, Якоб привстал, но увидел, как отец поднял руку.

— Нет, сынок, никогда не отвлекайся от письма. Разговор всегда подождет.

Якоб снова сел.

— Но я хотел бы поговорить, папа, — сказал он улыбающемуся отражению. — Так мне проще будет продолжить. Я пишу дедушке о короле Франции. Интересно, он уже слышал, как повернулась революция?

— Увы, бедный Людовик! Короли не должны терять голову, не так ли? Им надо быть осторожнее.

— Ее просто срезали, как кусок сыра, — проворчал Вилли с пола и закашлялся, не отрываясь от рисунка.

— Кто же будет править Францией, папа? — спросил Якоб у отражения. — Они сделают королем кого-нибудь еще?

— Королем и принцем нельзя стать, сынок. Им надо родиться. Нельзя превратить солому в золото. Нет, они больше не хотят во Франции королей. Или, по крайней мере, так говорят. Французы умеют рассказывать всему миру о том, чего хотят, — и о том, чего хочет мир: и если надо, в том числе с помощью оружия. Но будь уверен, если наши французские друзья взялись за дело, волна Революции подхватит все остальные лодки.

Якоб хмурил брови. Ему нравилось, как отец говорит с ним, почти не делая скидки на его возраст. Но многого его голова не вмещала; он не был уверен, что правильно понимает слово «революция». Но от этого не становилось меньше удовольствие от доверительного общения с человеком, который олицетворял для него правила и порядки.

Он снова пристально посмотрел на отражение отца, между тем как Мюллер довершал свою работу. Но на это отражение наложилась другая картина, и Якоб представил руку, вздымающую отрубленную голову за прядь невинных волос, голову, поразительно похожую на голову курфюрста. И тотчас отец, как часто бывало, словно увидел картинку, стоявшую перед глазами старшего сына.

— Не задумывайся слишком о казни, Якоб, — тепло обратился он к сыну, прежде чем вновь отправиться вершить правосудие в долину Кинцига. — Помни, это французы. Они не похожи на нас. У них был один-единственный монарх, и они все согласились убить его. У нас принцев как дней в году, и они не могут даже прийти к единому мнению по поводу времени суток! — Он широко улыбнулся. — Все возвращается к Природе. Видишь ли, у французов есть маленькие аккуратные садики, — а мы, Якоб? Что у нас есть? Наш великолепный, знаменитый дикий лес! Держи свою заботу ближе к дому, я бы так сказал.

Якоб повернулся помахать отцу на прощанье, но тот уже вышел, крикнув «до свиданья!» с последней ступеньки лестницы. Мальчик вернулся к письму с легким сердцем, убежденный, что Филипп Гримм — живое доказательство того, что сам он только что сказал: королями не становятся, ими рождаются.

Августа так и не уснула. Но она бесконечно долго смотрела вниз — в полудреме, не чувствуя времени, — и постепенно ей стало интересно, не достигли ли они с дядей безмолвной общности взглядов.

Сколько она помнила, молчание всегда было его излюбленной стихией. Оно и для отца было любимым, по неизбежности, ибо всю жизнь они вместе вели исследования или работали в смежных комнатах. Когда она была маленькой, сначала в Геттингене, а потом в Берлине, они с братьями ходили на цыпочках мимо их столов, шумя даже меньше, чем скрипящие перья. Наклоняясь вперед так сильно, что его глаза, казалось, вот-вот коснутся страницы, дядя выводил крошечные буквы своими коротко обрезанными гусиными перьями; ее отец, повыше ростом, сухопарый, из них двоих был явно менее напряжен: концы его перьев оставались неоципантыми, а брови были выгнуты дугой, когда он сидел, уставившись в пространство. Но дядя был терпимей, когда ему докучали, — по крайней мере, маленькая Августа.

Особенно был ей памятен один вечер в квартире на Леннештрассе, их первой квартире в Берлине, когда ей было не больше восьми. Направляясь спать и проходя мимо кабинета дяди, она поскользнулась и упала. Он вышел к ней подрагивающей стариковской походкой, словно бобер, потревоженный в логове. «Сказку, сказку, сказку!» — всхлипывала она, едва ли ее ожидая. Присев на корточки, он поднял ее маленькую тряпичную обезьянку, улыбнулся и принялся рассказывать одну из своих историй-предостережений.

«Вначале, — сказал он, — Создатель отмерил равный промежуток жизни всем тварям: тридцать лет. Ни днем больше. Но осел пришел к Нему и сказал: „Не по силам мне тридцать лет таскать тяжести!“ — ну и Создатель забрал у него восемнадцать лет. Затем пришла собака и сказала: „Тридцать лет для меня слишком. Что я буду делать, если у меня откажут ноги, или я не смогу больше лаять?“ И Создатель забрал у нее двенадцать лет. Затем пришла обезьяна. — Он потряс игрушкой перед своим лицом. — И обезьяна сказала: „Мне тридцать лет не нужно. Разве я смогу развлекать народ своими проделками так долго?“ И Создатель забрал у нее десять лет.

Об этом прослышал человек и, не в пример животным, захотел жить *дольше*, поэтому пошел к Создателю и сказал: „Отдай мне те годы, которые забрал у других“. И Создатель так и сделал, и этим объясняются семьдесят лет жизни человека. Первые тридцать лет — это годы самого человека, когда он здоров и счастлив, но они быстро пролетают. Следующие восемнадцать лет — годы осла, когда на плечи ложится одно бремя за другим, а все, что он получает за верную службу, — это палки и пинки. Затем приходят двенадцать лет жизни собаки, когда человек бродит из угла в угол и может только рычать беззубым ртом. И наконец, десять лет обезьяны — конец жизни, — он снова потряс игрушкой, но не так задорно, — когда человек в своем слабоумии способен лишь на глупости, которые заставляют над ним смеяться даже детей».

Августа мысленно улыбнулась воспоминаниям. Как и многие его истории, эта немного ее расстроила. А он сидел рядом, чем-то похожий на эльфа, и думал бог вещь о чем, мысленным взором обозревая свою родину, на восемь лет пережив возраст обезьяны и при этом обладая все таким же острым умом, как и прежде. По ней так даже чересчур острым. А ведь она сама уже вступила в ослиную жизнь!

— Фрейлейн Гримм, — пробормотал Куммель, возвращая ее к реальности. — Уже за полдень.

Она обернулась и увидела, что слуга спустился с холма, где с разрешения Гримма выкурил несколько трубок. Он протягивал ей часы на цепочке, которые носил ее отец в кармане на поясе брюк.

— Если желаете пообедать плотнее перед отъездом в Штайнау, может, не стоит здесь засиживаться?

Она улыбнулась, прикрыв глаза от солнца, и удивилась, что слуга намекнул об этом ей, а не Гримму, хотя испытала нелепое удовольствие, что к ней обратились прежде, чем она заговорила сама.

— Да, конечно, спасибо.

Уже поднявшись, она с опозданием увидела, что Куммель подает ей руку, на которой отчетливо была видна темная вена. Так часто выходило с этим лакеем, которого мать позаимствовала у семейства Дресслер во время путешествия по Умбрии. Он обладал таким умением сливаться с окружающей обстановкой и в доме, и за его пределами, что временами казался не более заметным, чем колечко дыма из его трубки. В этом отношении мать была права, утверждая, что его присутствие не скажется на времяпрепровождении Августы с Гриммом — но с другой стороны, мать и понятия не имела, зачем Августе понадобилась эта поездка.

Гримм тоже поднялся сам. «*Мы ткем, мы ткем...*»¹ Августа слышала, как он пел себе под нос. Откинув с лица седой завиток, прищурившись, он посмотрел на восток, на горизонт, очерченный кронами деревьев, — туда они отправятся днем.

— Хех! — Он улыбнулся, пожимая плечами, пока пиджак не сел так, как ему хотелось. — Скоро пора будет вновь оставить дом.

Глава четвертая

Мать позвала Старшего в свою комнату на пятую ночь после родов.

— Тебе пора уходить, — сказала она, не поднимая глаз. Она стояла перед прялкой, рассеянно качая ногой колыбель, которую он сколотил несколько недель назад. — Ты достаточно взрослый, ты мужчина во всех отношениях. Тебе пора идти своим путем.

Хотя было уже поздно, он думал, что мать хочет, чтобы он ушел немедленно. И он был готов уйти; в глубине души он всегда был к этому готов. Но услышать наконец такие слова было для него потрясением. Он прислонился к дверному косяку в ожидании подробных указаний.

— Может быть, ты уже не вернешься, — сказала она, пожав плечами. Качая новорожденного, она сидела полуотвернувшись. Седые волосы, распущенные перед сном, скрывали ее лицо, а голос звучал неровно. Возможно, она глотала слезы; возможно, удерживала одну из своих горьких, обнажающих зубы улыбок. В последнее время ничего из того, что ее касалось, нельзя было предсказать, и он опасался, что от жизненных тягот пострадал ее рассудок.

— Может, когда ты обнаружишь, что находится там, вне дома, — продолжала она, — ты и не захочешь вернуться.

— Нет, — сказал он, с трудом сдерживая слезы. — Это мой дом. И всегда им будет.

Не в силах сказать больше, он устался на синюю огрубевшую кожу на ее пятках, под обтрепанным краем ночной сорочки. Ее ноги никогда не были теплыми, как и руки, которые, сколько он себя помнил, были при прикосновении холодны, как черепица. *Знаешь, есть ведь и другие миры.* Он снова подумал, что она как-то перешла в этот мир из другого и, зная о многом куда лучше, не представляла, как заставить кровь бежать резвее в этих печальных обстоятельствах.

— Ты Старший, — сказала она. — Тебе приходится. Был бы жив Фридрих, тогда, конечно, ушел бы он.

— Я знаю. Не стоит объяснять.

Спазмы сводили желудок оттого, что он слышал отчаяние в ее голосе. Она так много потеряла той ночью, когда умер Фридрих, ибо ее первый дом сгорел тогда за несколько часов.

— Я знаю, нас теперь слишком много. Правда, я понимаю.

Но он так говорил лишь ради нее. Он брал от семьи гораздо меньше, чем отдавал. Он был скорее слугой у домашнего очага, чем сыном в доме, и не знал, справятся ли они без

¹ «Wir weben, wir weben», рефрен стихотворения Г. Гейне «Силезские ткачи» (Die schlesischen Weber).

него. Но вера в мать была в нем неколебимой. У нее были свои резоны; она всегда хотела для него лучшего. И она назвала его мужчиной. Это его обрадовало.

— Скажи, мама, куда мне идти.

— Во дворец, — тотчас ответила она, повышая голос; потревоженный ребенок в колыбели начал хныкать.

Он знал, о каком дворце речь. Дворец был только один: Розового Короля на востоке. Но впервые он подумал о том, как же ему туда добираться, через лес.

Он смотрел, как мать наклоняется, устало берет хнычущий сверток и садится на стул у прятки, по-прежнему не глядя на него. Она отвернула уголок, закрывавший личико ребенка, и приложила крохотный морщинистый ротик к своей груди.

Он не мог помочь этому ребенку, как и всем остальным.

— Он похож на Фридриха, — наконец сказала мать. — Да, на Фридриха. — Она вздохнула, отбрасывая назад волосы, и продолжала, будто обращаясь к прятке: — Ты должен пойти во дворец, чтобы увидеть королевскую дочь.

— Ту, на праздновании рождения которой ты была?

— Да. Она должна быть уже готова.

— Готова?

— Для того, кто придет, когда настанет время.

— И что тогда? Что я скажу? У тебя есть к ней послание?

— Нет. Послания нет. Я сказала все, что могла сказать. Но ты узнаешь. Когда придешь во дворец, станет ясно, что тебе надо сделать.

Ее ответ был окончательным, а выражение лица таким твердым, когда она посмотрела на жадно сосущего ребенка, что Старший смог только кивнуть и поинтересоваться, не зная толком зачем, знает ли отец, что он уходит.

— Нет нужды уходить до утра. Останься на ночь в доме. — Ребенок снова уснул. Она осторожно уложила его обратно в колыбель, завязав сначала тесемки на сорочке. — Ты можешь побыть здесь, если хочешь.

— Здесь?

Она посмотрела на него из-под волос, упавших на лицо, когда она наклонилась. Пламя возле ее кровати танцевало, почти угасая в луже свечного сала. Казалось, оно заставляет и ее танцевать, порхая по комнате и вокруг него, с ее зубами, ногами и этой косточкой сзади на шее.

— Я могу постелить тебе на эту ночь, — сказала она.

— Нет, — ответил он после секундного колебания. — Я уйду сейчас. Я хочу уйти прямо сейчас.

— Ты ведь не боишься, Старший, так?

— Чего мне бояться?

Она вновь опустила руку на стул и положила руку на кипу льна. В прерывистом свете лучины эта кипа сияла, как кучка желтой соломы или даже потускневшего золота.

— В путешествии думай о себе как о принце, — сказала она, — о принце, который однажды может стать королем.

Он улыбнулся, но сердце его забило сильнее. Неужели она наконец собирается рассказать ему правду о своем прошлом? Что некогда, далеко в лесу, она не только знала роскошь и изысканность, но и сама была королевой?

— Почему я должен так думать?

— Почему? — Она усмехнулась. — Чтобы обладать мужеством принца. — Она прижала ладонь к кипе льна, потом подняла руку, оставив на льне четкий отпечаток. — И главное, чтобы у тебя была удача принца.

Пламя наконец погасло, и комната разом погрузилась во тьму. Он слышал, как мать усмехнулась, на этот раз словно издалека.

— А теперь, — сказала она, — в моих глазах ты ищешь мир, как принц. Ты принц — я нарекаю тебя таковым — и можешь быть королем. Скажи мне, кто ты.

— Я принц.
— А что ты скажешь тем, кто спросит, кто ты?
— Что я принц. Обещаю, что скажу так. Я изменился. Я больше не Старший.
— Тогда иди, — засмеялась она. — И будь принцем для меня. Тогда ты будешь им и для остальных.

Глава пятая

«*Мы ткем, мы ткем...*» — Гримм пребывал в такой глубокой дреме, что ему потребовалось несколько секунд, чтобы узнать в худом молодом слуге Куммеля, вошедшего с водой для бритья. И когда он глядел, приподнявшись на подушке, голова его вновь затряслась от этой мучительно неузнаваемой строчки из песни.

Поставив таз на умывальник, Куммель бросил взгляд на узкую кровать. Отдернул шторы, чтобы открыть квадратик зловещего белого неба Штайнау, перед тем как поклониться и выйти.

Сон Гримма был ужасающе предсказуем: похороны заживо, переход в какой-то иной мир, меж тем как в этом на него лилась грязь. Едва ли можно было назвать это кошмаром. Он чувствовал почти облегчение, когда оставлял родину, чье будущее выглядело таким безрадостным. Но это беспокоило его больше, чем обычно, когда он приводил себя в порядок перед началом дня и в висках начинала стучать знакомая пульсирующая боль.

Когда он вышел к завтраку, Гюстхен уже сидела за их столиком у окна. Большая часть других столиков тоже была занята, и в помещении стоял сильный разноголосый шум. Когда Гримм уселся, он заметил, что несколько мужчин, потягивая чай и намазывая маслом булочки, листают газеты. Дыхание его участилось, он попытался по выражению их лиц оценить, сколь плохие новости поступили из-за французской границы или даже из Берлина, где на нового человека, Бисмарка, возлагалось едва ли не больше надежд, чем на последнего Наполеона.

— Похоже, будет дождь, — сказала Гюстхен, когда Куммель подошел наполнить чашку Гримма. — Нам может не удастся дальняя прогулка. — Она ослепительно улыбнулась, будто быстро открыв и тут же захлопнув маленькую книжку, как делала, когда особенно нервничала. — Но может быть, вместо этого стоит пойти в церковь, где ваш дед был пастором? Отец говорил, ты в свое время всем рассказывал, что будешь священником, и читал проповеди со стула в гостинной.

— Да, он так говорил?

— Мне бы хотелось увидеть церковь, дядя, потому что ты сказал, что предпочел бы не смотреть на Амтсхаус.

В ее голосе слышалось разочарование и, возможно, упрек. Она очень хотела услышать, почему он избегает старого дома, где он был так недолго счастлив, но он не заставил бы себя это объяснить. Для него Амтсхаус был местом скорби, и ему не хотелось об этом вспоминать; куда бы он ни бросал свой взор в этой чудесной, первозданной местности, единственное, что, казалось, мог припомнить, — это тяжелую утрату и упущенные возможности.

— Итак, можем мы послать Куммеля за ключами от пасторского жилья? — настаивала Августа.

Грим кивнул и повернулся посмотреть на улицу с приземистыми лавочками и винными погребами. Мускулистый бородатый ломовой извозчик разгружал бочки, ему помогал мальчишка. Они работали слаженно, ни слова не говоря, каждый понимал, что хотел другой: рычаг побольше здесь, чуть больше свободного хода здесь, короткая пауза, чтобы перевести дух. Это был почти что парный танец, своего рода па-де-де, вершин в котором они с Вилли так давно достигли в работе и в жизни, прежде чем появилась Дортхен, чтобы обучить их новым па.

Когда он отвел взгляд от окна, у стола стояла невысокая женщина средних лет с ярким

румянцем, держа перед собой, словно преступника, маленькую девочку. Он сделал попытку встать, но она жестом его остановила.

— Простите меня, герр профессор, но вчера вечером я услышала, что мы живем с вами в одном заведении, — она кивнула в направлении Гюстхен, та улыбнулась в ответ, — а моя дочь такой жадный читатель ваших «Сказок для молодых и старых» — впрочем, как и я, — что я решила, что мы должны подойти к вам и выразить наше восхищение.

Гримм заметил, что разговоры вокруг стихли. Куммель тоже сделал паузу на пути к столу, держа в руках тарелку овсянки.

— Вы очень добры, — сказал он.

— Скажи профессору, — женщина подтолкнула дочь, — скажи ему, какие из его историй нравятся тебе больше всего.

Девочку пришлось встряхнуть снова, прежде чем она открыла маленький ротик, но это было не из-за волнения. Она улыбалась Гримму, сперва удивляясь массе седых волос, затем — мягким сероватым рукам, лежавшим на красной скатерти стола: их пятнистой прозрачности, просвечивающей гладкости.

— Мне нравится та, что про дочь мельника, — объявила она. — Где отец сказал, что она может прясть из соломы золото. И король попросил ее это сделать, а она не смогла, пока не пришел маленький старичок и не помог ей. А в ответ она обещала отдать ему первого родившегося ребенка, когда выйдет замуж за короля. Это сказка, которая мне нравится.

Шепот одобрения пронесся по комнате. Под настойчивым взглядом широко открытых зеленых глаз девочки Гримм провел языком по губам.

— И как же она продолжается? — спросила мать, снова встряхнув девочку. — Расскажи нам.

— О, у королевы родился ребенок, и она не хотела отдавать его тому маленькому человечку. И он сказал, — она втянула подбородок, чтобы голос стал глубже: — *«Я дарю тебе три дня, и если угадаешь мое имя, ты спасешь ребенка»*. Два дня она пыталась угадать, называя все имена, какие только могла, — и даже некоторые совсем сумасбродные, как Кривоног и Гнуты-Голени, — но один из посланцев сообщил ей, что слышал, как маленький человечек пел свое имя, и сказал ей, как оно звучало. Поэтому когда на третий день пришел маленький человечек, она сказала: *«Может быть, твое имя Румпельштильцхен?»* — и оказалась права, потому что маленький человечек разорвался надвое. — Жеманничая, девочка добавила: — Вот моя история. Я ее рассказала и теперь оставляю вам.

Горсточка слушателей за ближайшими столиками зааплодировала. Тот, что читал газету, кричал *«браво!»*.

— Прекрасно рассказано, крошка, — сказала Августа, потянувшись, чтобы коснуться ее руки. — А как твое имя?

— Шарлотта, фрейлейн. Лотта.

— У меня была тетушка, которую так звали, — сказала ей Гюстхен. — Ну что же, ты очень впечатлила нас, Лотта.

Тут подошел Куммель с завтраком для хозяина, и женщине с ребенком пришлось отступить.

— Простите, что побеспокоили вас во время завтрака, герр профессор, — произнесла женщина, увлекая дочь за свой столик у камина, откуда радостно смотрели мужчина и два маленьких мальчика. — Но ваши сказки так любят у нас в доме: *«Ганс и Гретель»*, *«Белоснежка»*, *«Красная шапочка»*, *«Рапунцель»*...

Гримм улыбнулся, с облегчением слыша, как беседа за соседними столиками пошла прежним чередом. Он мог лишь повторить:

— Вы очень добры, — но женщине явно не хотелось уходить.

— Ваши истории так проникновенны, — продолжала она. — Добро и зло как они есть, — детям надо знать о них; и написано таким прекрасным языком. Может, вы рассказывали эти истории своим детям, прежде чем поместили их в книгу?

Гримм взял было булочку, но положил обратно в корзинку.

— Нет-нет. Я никогда не был женат.

Она взглянула на Гюстхен и затем опять на Гримма:

— Что ж, от этого ваши произведения еще чудесней.

— Это не только мои произведения. — Гримм чувствовал, что обязан сказать ей об этом с улыбкой. — Я собирал сказки с покойным братом. Истории, рассказанные простыми людьми из Гессена, дали нам богатейший материал. Мы всего лишь вернули народу то, что изначально ему принадлежало.

Женщина вдруг смутилась.

— Спасибо, спасибо! — Она кивнула Гримму и Гюстхен и поспешила присоединиться к семье.

Гримм, у которого начало першить в горле, взглянул на улицу, где многие шли под зонтиками. «Солому в золото, солому в золото...» — он тяжело дышал, внимание его было приковано к разноцветному строю бутылочек и коробочек в аптечной витрине напротив. И ускользающая строчка снова пронеслась в голове: *«Мы ткем, мы ткем...»*

— Как думаешь, милая, — обратился он к Августе, сморкнувшись и с огорчением обнаружив, что нос так и не прочистился, — удастся нам остаться наедине хоть ненадолго?

Оба украшения стояли на полочке в детской с тех самых пор, как семья Гриммов поселилась в Амтсхаусе. Возможно, они даже принадлежали семье предыдущего магистрата. Придумывая беседы двух фарфоровых фигурок, Якоб всегда говорил голосом мужчины, хотя его собственный голос еще не ломался. А когда наступал момент для их замечательных трюков, он одним-единственным движением пальца заставлял голову мужчины в шляпе кивнуть, тогда как Вилли заставлял трястись аккуратную головку женщины. Но до сих пор никому из детей не разрешалось эти фигурки брать. И для Гримма подержать маленького человечка в холодных руках означало, что день оказался еще необычней, чем был до того.

Рядом у окна стоял Андреас, старый кучер Амтсхауса, по совместительству дворецкий. Якоб чувствовал впитавшийся в его непривычно темную одежду имбирный запах, не зная точно, нравится ли он ему. Сам он носил сюртук из темно-зеленой ткани, спускавшийся ниже колен. Чтобы отучить его от надоедливой привычки вертеть в руках большие белые пуговицы, тетя Циммер взяла фигурку и сунула ему в руку. Теперь он держал ее, указательным пальцем заставляя ее непрерывно кивать на запорошенное снегом окно: «Да-да-да».

Ступеньки внизу были очищены от снега, дорожка к экипажу, ожидавшему у конюшни, разметена. Якоба вновь удивило, что ненасытным французским армиям нужно вести войну на землях Германии, в то время как обычные люди едва могут тут удержаться. На глаза ему попались семейные сани, наполовину вытащенные из пристройки, стоявшей особняком. Позолоченное украшение в виде гессенского льва было в ужасном состоянии. Андреас тронул Якоба за плечо, чтобы тот поглядел вниз.

Процессия двигалась быстрее, чем он ожидал. Вскоре черный гроб скрыла шедшая за ним толпа. Плакальщиков с их громоздкими головными уборами, несущих лимоны и веточки розмарина, сверху было трудно различить. Никто не поскользнулся. Никто не упал. Затем гроб очутился на повозке, а экипаж с людьми ехал позади. На короткое время Якоб позволил игрушечному человечку дать отдых голове. Когда лошади первой повозки направились к церкви Святой Екатерины, человечек вновь начал кивать.

Хотя большой дом отнюдь не пустовал, следующие полтора часа он был непривычно тих. Значительную часть этого времени Якоб провел, слоняясь из комнаты в комнату на верхнем этаже. Необычно было делать все что угодно, не заботясь о развлечении бедного больного Вилли. Он не мог припомнить, когда не следил бы за братом; возможно, такого времени и не было. Он не входил в бело-зеленую спальню родителей. Он лишь заглядывал туда, видя халат отца, брошенный в изножье большой кровати с пологом на четырех столбиках, с причудливой, украшенной фестонами занавеской в серую и темно-синюю

полоску.

Андреас нашел его в детской, где он с восхищением созерцал последние экземпляры бабочек, каштанов и желудевых чашечек, которые Вилли привел в порядок. Якоб уже слышал, что комнаты внизу вновь заполняются, уныло звенит синий дрезденский фарфор. Не так уж много времени надо, чтобы избавиться от тела. Он это знал: для него это были не первые похороны. В год, когда они уехали из Ганау, мать родила ребенка, прожившего только год и два месяца. Она теряла детей и раньше: первого малыша, родившегося и умершего еще до рождения Якоба. Она никогда ни словом не обмолвилась об этом, но Якоб пытался представить, какой могла быть жизнь, будь старшим не он или будь они с Вилли близнецами, к которым относятся одинаково.

— Вас ждут, — сказал Андреас от двери детской.

Якоб поднял глаза и пошел к нему.

— Мне это взять? — спросил старик, указывая глазами на кивающую фигурку, которую Якоб прижимал к животу.

— Смотри! — сказал мальчик. И медленно поднял голову фигурки, показывая фарфоровую палочку, к которой она крепилась, затем поднял выше и выше, пока голова и палочка не отошли от тела, к которому были приставлены. Он подержал их так несколько секунд, а затем ловко вернул голову на шею. Он отдал фигурку старику и спустился по ступенькам, думая, не придется ли им оставить здесь фигурки при новом переезде.

Все — и Гриммы, и Циммеры — стояли в гостиной, предназначенной для семейной молитвы. Перед такой толпой взрослых Якоб почувствовал себя крошечным, неуместным. Как на улице была расчищена тропинка в снегу к экипажам, так и здесь был приготовлен узкий проход, чтобы он мог пройти к аналою из красного дерева, на котором был изображен орел, и лежала семейная Библия, раскрытая на нужной странице. Не позволяя себе глядеть по сторонам, он чувствовал, что вырастает с каждым шагом. Он повернулся, подошел и взялся левой рукой за край левого орлиного крыла.

Некоторые женщины плакали; Вилли, которого мать обнимала за плечи, дрожа от горя и астмы, тоже плакал. Якоб улыбнулся, чтобы приободрить любимого брата, но почувствовал укол зависти из-за того, что тот может плакать. Взяв большое перо, он то и дело опускал его в чернильницу. Но потом засомневался; написанные от руки на титульной странице книги в деревянном переплете имена, казалось, встали перед ним.

Там было его собственное имя, записанное отцом вместе с датой рождения, *4 января 1785 года*, одиннадцать лет назад. Сразу под ним, той же рукой: *Вильгельм, 24 февраля 1786 года*, а над его именем — имя того несчастного первого ребенка: *Фридрих, родился в 1783 году, умер в 1784 году*. Отец старательно записал даты рождения всех остальных детей: Карл в 1787 году, Фердинанд в 1788-м, Людвиг в 1790, еще один Фридрих, которого постигла та же участь, и который прожил лишь с 1791-го до 1792-го, и наконец девочка, Шарлотта Амалия, родившаяся всего три года назад.

Якоб перенес перо на желтое пространство под именем Лотты и твердым, уже взрослым почерком вывел:

Филипп Вильгельм Гримм, умер 10 января 1796 года.

Его отец скончался в возрасте 44 лет. Воспаление легких сразило его так скоро, что Якоб до сих пор не мог окончательно поверить, что отец больше никогда не поднимет свой халат с кровати с балдахином и не прочтет с этого аналая отрывки из Священного Писания.

Мать Якоба стояла ближе всех, все еще слишком оцепеневшая, чтобы плакать. Стоя на аналое и оттого будучи выше нее, он смотрел лишь на ее невидящие глаза, гордый нос и ровные зубы, приоткрывшиеся в некоем подобии улыбки. В этот момент он был ошеломлен ощущением того, что столько же боится ее, сколько и за нее. Смерть отца сломила мать так же легко, как Якоб на глазах Андреаса оттянул голову фарфоровому человечку. Если бы война с французами докатилась до Амтсхауса и бушевала в этих комнатах, едва ли это

сильнее ее потрясло. Она никогда не была крепкой физически и душевно, а теперь осталась без средств к существованию, в доме, из которого ей следовало незамедлительно выехать, и шестью детьми, о которых необходимо было заботиться.

Нет, думал Якоб, возвращая на место перо и улыбнувшись матери так, как немного раньше улыбнулся бедному измученному Вилли, — с пятью детьми и мной.

В огромном красивом здании готического собора Святой Екатерины Гюстхен насчитала имена десяти своих предков, чьи бранные останки покоились под церковными плитами. Гримм знал, что там лежали еще четверо, чьи имена она пропустила, но ничего ей не сказал.

Дрожа от охватившего его озноба, он предпочел бы остаться снаружи, если бы не дождь. Горсточка людей тоже укрывалась здесь от дождя; один или двое, узнавая, смотрели на Гримма. Мужчина под сорок, с бакенбардами, опиравшийся на трость, преклоняя колени в молитве, несколько раз взглядывал на старика и, казалось, уже готов был заговорить или, по крайней мере, поприветствовать его.

Куммель, в свою очередь, выглядел обеспокоенным с того самого момента, как вошел в собор. Будь он собакой, уши его были бы прижаты к голове, и он припадал бы к земле, а так он всего лишь медленно шел вдоль стены, не осмеливаясь выйти на открытое пространство бокового или главного нефа. Возможно, он католик, подумал Гримм, и обезоружен протестантской суровостью интерьера, — но лучше бы это было не так.

Насчет Куммеля у него были сомнения. Не то чтобы он искал недостатки в его службе. Она была образцовой, не в пример мальчишкам, которых Дортхен набирала прямо со свекольных полей в берлинских окрестностях. Просто о таких как он ничего не знаешь наверняка. При этом сам Куммель представлялся слишком покорным и готовым услужить, словно желая спрятаться за обязанности, которые так старательно выполнял.

Выйдя на крыльцо, Гримм нашел место, где можно было посидеть и подождать, пока дождь не утихнет. *Мы ткем, мы ткем...* Гюстхен, кажется, все еще пересчитывала могильные плиты у алтаря. Куммель бродил под высокими окнами, ни на миг не выпуская хозяина из виду. Это было даже забавно. По-настоящему все трое обращали внимание исключительно друг на друга, будто играли в догонялки. Все одно и то же, с самого Гарца.

Незнакомый голос прервал его размышления:

— Профессор Гримм, это, видимо, случается часто и должно вас раздражать, но могу ли я представиться? Мое имя Квисторп. Я путешествую по делам фирмы, которая продает и арендует палатки и брезент, но моя семья родом из Ганновера. В тридцатые годы, когда вы преподавали в университете в Геттингене, я был еще ребенком.

Гримм поднял голову и изучающе посмотрел на почтительного мужчину с тростью, которого заметил раньше. Куммель и Августа сделали несколько шагов к крыльцу; Августа встревоженно качала головой, словно говоря Гримму, что не могла предотвратить этот разговор.

— Мне посчастливилось остановиться в одной гостинице с вами, — продолжал настойчивый коммерсант, подсаживаясь на скамейку к Гримму. — Я был на завтраке, когда девочка выразила вам свое уважение. Восхитительно, просто восхитительно. Узнай я вас раньше, я, вероятно, и сам решил бы на такую фамильярность. Но могу ли я сделать это сейчас? Не столько ради ваших замечательных сказок, герр профессор, сколько в благодарность за ваше выступление против ганноверского короля много лет назад. Видите ли, я был в толпе, что бежала рядом с вашим экипажем, когда вас и еще шестерых профессоров отправляли в изгнание. Позднее отец даже купил мне маленькую статуэтку: ваш экипаж, въезжающий в Витценхаузен. И знаете, я храню ее до сих пор!

Он сидел так близко, что обдавал Гримма запахом какой-то еды. Выглядел коммерсант вполне безобидно, однако когда незнакомые люди навязывали ему очередной нудный разговор, это нравилось Гримму так же мало, как читать лекции студентам. Августа отошла подальше, все еще покачивая головой. Ничего не оставалось, как только выслушать

неугомонного поклонника.

— И с тех пор, герр профессор, я всегда пристально следил за вашими доводами в пользу объединения страны. Ваши статьи, ваши речи! Как и вы, я горячо верю в то, что это должно случиться. Таможенный союз доказал, что государства могут работать сообща. И Пруссия должна выступить инициатором — если придется, то силой оружия. На прусский манер. — Его голос становился все громче. — Не согласитесь ли вы, герр профессор, что в лице Бисмарка мы наконец получили нашего человека? Он видит вещи в истинном свете. Время разговоров прошло, говорит он. Теперь настало время железа и крови. *Железа и крови...*

— Простите, хозяин...

Коммерсант поднял взгляд и проворно вскочил, несмотря на больную ногу. Свое внезапное перемещение он завершил, шагнув назад, в дождь, и перебросив тросточку из одной руки в другую. Гримм слегка нахмурился: как ни странно, его незванный собеседник столь быстро ретировался всего лишь из-за появления Куммеля.

— Простите, хозяин, — торжественно повторил тот. — Вам пора принимать лекарство. Быть может, вы хотите вернуться назад, в гостиницу?

Тем временем коммерсант, извинившись, поклонился и, прихрамывая, удалился, успев, однако, бросить на Куммеля долгий взгляд с прищуром, в котором читалась странная неприязнь. Гримма это волновало так же мало, как повторенная этим человеком зловещая фраза Бисмарка.

Не поднимаясь, он спокойно сказал слуге:

— Лекарство? Не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь.

Большие глаза Куммеля с длинными ресницами, казалось, стали непроницаемо темными.

— Внимание этого господина было вам неприятно. А по возвращении в Ганау фрейлейн Августа сказала мне, чтобы я не позволял вам докучать.

— Ты полагаешь, что мне докучали?

— Я подумал, что будь я неправ, вы бы меня отослали.

— Понимаю. Да, понимаю.

Когда, натянуто улыбаясь, к нему подошла Гюстхен, Гримм уже забыл о самонадеянности Куммеля, с неудовольствием вспоминая о неприязни, которая читалась во взгляде «человека крови и железа».

Глава шестая

Новоявленный принц не был готов к многоликости леса. Пейзаж менялся так часто, что ему казалось, будто несколько дней он шел анфиладой комнат и галерей. Некоторые из них были холодными, тихими озерами в кольце ив; другие — вересковыми пустошами, усыпанными галькой; третьи — амфитеатрами, обнесенными, словно стеной, живыми елями.

Но чем дальше на восток он шел, тем меньше ему на ум приходила архитектура, когда он смотрел на этот зеленый, бронзовый и красновато-коричневый мир. Он научился ценить буковые леса и ореховые рощи за то, какими они были на самом деле; а почву, состоявшую из корней, ростков деревьев, трав, растений и продуктов гниения, он уже воспринимал не как продуманное мозаичное убранство, а как беспорядочную инкрустацию. Он перестал думать об этом замысловатом великолепии как о досадной ошибке, ввергнувшей в запустение аккуратный, обнесенный стеной садик, закосматевший буйной порослью. Это обширное пространство никогда не представляло собой ничего иного и никогда не будет ничем иным. Оно было таким же старым, молодым и чистым, как мир при его рождении.

И он ожидал обнаружить тут куда меньше людей. Хоть и обходил стороной редкие скопления домиков, дощатых хижин лесорубов и колечки дыма от костров угольщиков, он был рад узнать, что здесь не один. Правда, он был счастлив спать вдаль от людей, свернувшись клубочком в ложбине или на старом раскидистом дубе, и есть то, что попадется

на ветках, в кустах и в норах, давая ушам наслаждаться лишь пением птиц.

Самую длинную беседу, не считая вопросов о дороге и обменов приветствиями, он завязал, в сумерках переходя какой-то мостик.

— Ты идешь так целенаправленно, — произнес голос снизу. Остановившись, принц увидел молодую прачку. — Куда ты направляешься?

— Во дворец Розового Короля.

— Во дворец с принцессой?

— Так вы о нем знаете? Далеко ли еще? Сколько я ни спрашивал, люди лишь показывают на восток и говорят: «Это ближе к тому месту, где встает солнце».

— Ну что ж, это правда. — Она сжала губы, затем выпрямилась и выгнула спину, упираясь руками в бедра. Из-за того, что платье, доходившее до щиколоток, натянулось, тело ее показалось стройнее и привлекательнее; а лицо в форме сердечка сделалось особенно милым, когда глаза с озорным огоньком осматривали его. — Так ты, должно быть, принц? — Он колебался лишь мгновение, прежде чем кивнуть. Женщина сморщила носик в радостной улыбке и вновь склонилась над скрученными полотнами. — Удачи. Тебе потребуется еще время. Спроси снова, когда дойдешь до домика с тремя прядильницами.

— А это по той тропинке?

Она снова выпрямилась, оставив самое большое полотно, прижатое плоским камнем, полоскаться в воде на мелководье, и взглянула на него иначе, не как в первый раз, словно ее озарила какая-то мысль.

— Скажи мне, ты знаешь, что собираешься делать, когда придешь во дворец? — спросила она, вытирая руки о передник. И не дожидаясь ответа, твердыми шагами поднялась на мостик.

— Я хочу найти способ помочь своей матери и ее детям, — ответил он, думая о массивных золотых шкатулках с приборами, инкрустированными драгоценными камнями. Он намеревался принести матери хоть одну ложку, чтобы та ее продала и обеспечила на время себя и детей.

— Твоей матери? Во дворец? О нет, это неправда! — Она не остановилась, пока не подошла так близко, что он мог почувствовать ее аромат: теплый, влажный и сладкий, как запах мха возле озера, на котором он преклонил голову прошлой ночью. — Разве это не забота твоего отца? — Она улыбнулась, и он снова был очарован ее прелестной улыбкой. — Он ведь король, разве нет?

— У меня нет отца! — Он сам удивился, что так пренебрежительно хмыкнул.

Взяв его за рукав, она профессиональным взглядом осмотрела грязные манжеты. Его брюки и камзол тоже были в грязи, а ботинки были дырявыми. Он знал, что вряд ли она видела когда-либо человека, меньше похожего на принца. Она стала рассматривать каждую потрескавшуюся пуговицу у него на рубашке. Она смотрела, и кончики ее пальцев скользили по ткани и слегка касались кожи. Он чувствовал, что его собственные пальцы одеревенели, как бывало с ним, когда он поест яблок. И во рту у него был яблочный привкус.

— Тебе многое придется сделать, когда ты придешь во дворец, — сказала она. Ее голос звучал чуть громче вдоха, а губы были так близко к его шее, что кожа его розовела. — Но сможешь ли ты это сделать?

То, что она делала, было для него внове. Он даже забыл, что они стоят на открытом месте, откуда можно докричаться до кривобокой мельницы, стоявшей выше по течению в окружении шести маленьких домиков и похожей на растрепанную служанку, которую оставили следить за выводком детей.

Ее пальцы играли с застежкой его штанов, затем рука скользнула внутрь, и он покачнулся.

— Ты на самом деле принц? — прошептала она. Он мог издать лишь мычание, которое немного походило на «хех». Она сжала сильнее. — Ты не выглядишь, как принц. Ты не чувствуешь, как принц.

— Может, и нет, — его едва слышный голос был грубым, — но уверяю тебя, я

принц. — Он обнял ее, задрал подол юбки и свободной рукой сжал ее бедра. — Поверь мне, я принц!

— Но если ты принц, — проговорила она, слегка задыхаясь, — ты не для меня! — И вскрикнув, она отскочила и одернула юбку. Теперь она усмехалась, стоя в двух шагах от него.

— Почему? — Он шагнул вперед, но она вернулась к своей стирке.

— Приведите себя в порядок, ваше высочество, — сказала она, делая реверанс. — У деревьев есть и глаза, и уши.

Он поднял взгляд и увидел трех мужчин, спускавшихся по тропинке от мельницы. Шедший впереди остальных сильно жестикулировал.

— Уходи, — посоветовала прачка, помахав рукой в ответ. — Мельник — мой муж. Уходи! Найди место, где нет веретен.

— Разве не ты советовала мне идти в домик трех прядильщиц?

— Это одно и то же. А теперь иди!

Глава седьмая

— Входите, пожалуйста, — сказала Августа. — Садитесь. Прошу прощения, что отвлекла от пива и карт. Уже очень поздно, я знаю.

Когда Куммель вошел в ее маленькую гардеробную, Августа все еще нервничала из-за вежливого, но настойчивого заявления дяди, высказанного после обеда, что завтра утром он не нуждается в ее обществе. Именно теперь, когда она собиралась взять быка за рога и начать задавать вопросы. Это выглядело так, будто он *знал*.

Отвернувшись, она пересекла комнату, подошла к окну и задернула бархатную штору. Ночь давно уже опустилась на крутые улицы Марбурга. Казалось, порогов на этих улицах было больше, чем ступенек в домах. Дядя показал ей здание неподалеку, у которого входная дверь была на крыше. Сейчас она видела всего лишь мерцание уличных ламп в темноте, наложенное на ее собственное отражение в стекле, а за ним — отражение Куммеля, который все еще стоял, поскольку, решив он воспользоваться оттоманкой, Августе было бы некуда сесть.

Обернувшись, Августа быстро сказала:

— В Ганау я имела в виду, что мне понадобится ваша помощь, чтобы присмотреть за профессором, когда он будет один воскресным утром в Касселе. Небольшая вечеринка-сюрприз. Я должна отдать первые распоряжения уже отсюда. Разослать телеграммы и тому подобное. А профессор завтра будет гулять один. Вы знаете, он был здесь еще студентом, пятьдесят лет назад. Это место хранит много дорогих ему воспоминаний. — Она прервала фразу, бросив взгляд на дверь спальни.

— И вы хотите, чтобы я сопровождал его? — спросил Куммель. От него и его одежды исходил очень сильный запах табачного дыма.

— Нет. Не совсем. Он не хочет, чтобы его сопровождали. — Вспыхнув, Августа положила руку на любимое ожерелье, напоминавшее высокий воротник. Взгляд немислимо темных глаз слуги был слишком понимающим. Неужели белые нитки ее хитростей столь очевидны? — О, не знаю, как объяснить. Понимаете, Марбург ведь нельзя назвать идеальным местом для прогулок джентльмена семидесяти восьми лет. Обычно здоровье профессора не дает поводов для беспокойства, но в Тиргартене у него было несколько серьезных приступов одышки, а сейчас, как вам известно, он подхватил простуду.

Она смотрела на низкий столик красного дерева между ними. Там лежало принадлежавшее ее отцу первое издание «Сказок для молодых и старых», в зеленом переплете с золотым обрезаом, и оно вдруг представилось ей вырванным, но все еще бьющимся сердцем.

— Мой дядя очень крепкий человек, Куммель. Недавно он в одиночестве путешествовал в Скандинавию и Италию. Но временами он переоценивает свои силы. —

Она закрыла глаза, чтобы успокоиться. — Я прошу вас присмотреть за ним завтра — с разумного расстояния. Вы меня поняли?

Она перевела на него глаза, затуманенные анисовкой, выпитой за обедом сразу после того, как Гримм сделал свое заявление и ушел заниматься «колкой дров».

— Да, фрейлейн, я понимаю, — ответил Куммель. — Все, что пожелаете.

Что-то необычное было в его невозмутимых высоких скулах и остром уверенном подбородке. И хотя черные волосы были пострижены почти до корней, этим вечером они почему-то выглядели взъерошенными. Августа поймала себя на мысли о том, каков он среди людей своего круга. И о том, что ей хочется тайком понаблюдать за ним внизу, за картонным столом, в облаке табачного дыма.

Она сделала два шага к камину в английском стиле. Над ним висела картина: романтичный молодой человек в одежде с пышными рукавами, склонившийся над книгой, окруженный чем-то вроде тополей, ухитряющийся читать при бледном свете луны.

— Это меня успокоит, — сказала она. — Вам следует оставаться незамеченным в изгибах и поворотах этих улочек. И я знаю, у вас есть хладнокровие, которое вы проявили в церкви в Штайнау с тем неприятным человеком. — Она попыталась улыбнуться и вновь почувствовала, что краснеет. — Пожалуйста, не позволяйте дяде вас заметить. Его гордость будет задета. Он всегда нес ответственность за себя и за всю семью, и ему будет тяжело принять, что теперь он сам нуждается в присмотре.

Куммель кивнул. Августа ожидала, что он уйдет, но он стоял, ничего не говоря. На какой-то момент она растерялась, не находя слов, и тишина вдруг переросла в неловкость.

— Видите ли, семья всегда так много значила для него. Он бросил университет, не получив степень, чтобы найти работу и поддержать овдовевшую мать и младших братьев и сестру.

К ее удивлению и облегчению, ей как будто удалось пробудить в нем интерес.

— Я думал, детей было только двое: профессор и ваш отец.

— О, это далеко не так. Их было шестеро. Пять мальчиков и девочка. Просто остальные уже умерли. С одиннадцати лет дядя был для них как маленький отец. Некоторым, стоит сказать, даже лучший отец, чем они заслуживали. Только подумайте, Куммель, принять такую ношу в столь юном возрасте! — Она улыбнулась. — А у вас большая семья?

Глаза его стали еще темнее. Казалось, он вздрогнул, будто от неожиданного прикосновения пламени.

— Нет, фрейлейн. Небольшая.

— Мой отец, конечно, был самым близким человеком профессору и по научным интересам, и по возрасту, хотя никогда не мог соответствовать ему по интеллекту. Но кто мог? В конце концов, он — человек, именем которого назван закон! Да, закон Гримма. Этот закон регулирует соотношение согласных в немецком и других индоевропейских языках. И он автор термина «сдвиг согласных»... — Она сделала паузу, удостовераясь, что слуга ее понял. — Он очень пылко относится к Германии и немецкому языку, будучи экспертом во многих других. Если что-то стоит прочесть — говорит профессор, — надо выучить язык, чтобы читать в оригинале. Когда в составе гессенской делегации его посылали на Венский конгресс, он все свободное время учил сербский! — Она натянуто улыбнулась своим мыслям, вновь взглянув на картину. Ребенком она преувеличивала роль дяди в посленаполеоновском установлении мира в 1815 году; друзьям она рассказывала, что он без посторонней помощи нарисовал новую карту Европы, и сама наполовину в это верила. — Мой отец, когда не работал вместе с дядей, главным образом переводил.

Когда она вновь взглянула на Куммеля, в ее глазах блеснули слезы. Но сейчас он, казалось, пристально смотрел на ее маленькую грудь в декольте вечернего платья. Августа не была так неопытна, как притворялась, в умении читать взгляды, посылаемые противоположным полом. Непостижимы для нее оставались лишь самые молодые и не очень молодые бидермейеровские мужчины.

— Еще раз прошу прощения, — вздохнула она, — я отвлекаю вас от игры. Скажите, вы

выигрываете?

Впервые на ее памяти он улыбнулся, широко улыбнулся. Было похоже, что он позволил проявиться в себе другому человеку, менее строгому, о существовании которого Августа, вероятно, подозревала — даже надеялась, что он существовал, — всегда.

— Другие слуги и ординарцы полагают, что они жулики почище моего, — сказал он. — Но они ошибаются.

Августа улыбнулась в ответ.

— Не спускайте с дяди глаз, хорошо? Не знаю, что буду делать, если с ним что-нибудь случится.

Снаружи на склоне лежал снег, но в личном кабинете Фридриха фон Савиньи было уютно. Для Якоба от ряда великолепных немецких средневековых текстов исходило не меньше тепла, чем от маленькой черной печки, возле которой хрипло дышал Вилли, делая выписки из очередного ценного манускрипта. Старшего брата переполняли чувства, ибо сам фон Савиньи, их молодой, но величественный профессор юриспруденции, сидел в облаке табачного дыма, работая подле них.

Здесь Якоб мог на несколько часов в неделю, закрыв массивные дубовые двери, отгородиться не только от материальных проблем в семье, но и от наполеоновских мясников в треуголках, которые наводняли его родину, как вши — здоровые волосы. Он мог даже закрыть глаза на хриплое дыхание Вилли и обещание, которое дал матери, что будет отцом своему больному астмой младшему брату. Потому что здесь, только здесь, переворачивая страницу за страницей, он мог наслаждаться строчками трубадуров-романтиков.

Двери библиотеки открылись. Это была Кунигунда, всего полгода как жена Савиньи. Повернувшись, она взяла поднос у Бейка, лакея, и внесла его сама, сморщив носик от дыма, который напустил ее муж. Якоб и Вильгельм стояли, пока она подавала чай с красным вином. Савиньи улыбнулся, нежно поцеловал ее и продолжил работу.

Якоб не мог не испытывать симпатии к жене профессора. Все ее любили. Непринужденная, хорошенькая, она замечательно выглядела с прической в греческом стиле и в одеянии из голубого муслина с высокой талией, подчеркивавшим ее беременность. И все же Якоб ощущал неожиданный укол негодования, когда она входила, нарушая их почти монашескую сосредоточенность.

— Как ослепительно ты выглядишь, Якоб, — улыбнулась она, — прямо щегольски!

— Вы очень добры, — ответил он, одергивая манжету малинового сюртука и переминаясь с ноги на ногу в башмаках со шпорами. Он ощущал себя даже не на двенадцать, а на девять лет: мальчишкой, которого застукали, когда он вырядился в одежду взрослого человека.

— Неужто тому причиной какая-нибудь из марбургских девушек?

— Из марбургских? Ну нет, — Якоб почувствовал, что сжался, когда она улыбнулась сильно накрашенными губами. — Но у нас с братом есть друзья дома. Подруги.

— А, подруги дома! Знаете, здесь тоже можно найти удовольствия. Танцы, вечеринки, концерты. — Стоя позади мужа, она положила руку ему на плечо, в то время как тот продолжал писать. — Но Фридрих говорит мне, что даже студенты отмечают вашу стойкую преданность работе.

Якоб подпер голову рукой. Он знал, что говорили студенты. Они смеялись над ними, странными созданиями, не дорожащими ничьим обществом, кроме собственного, и хотя у них было всего тринадцать месяцев разницы, Вилли называли Младшим, а его — Старшим.

Наконец Кунигунда покинула свое место за спиной профессора и пересекла комнату, чтобы восхититься красивым почерком Вильгельма. Тот оказал ей больше учтивости, чем когда-либо, при обсуждении рыцарской повести, которую переписывал, и даже совладал на несколько минут с беспрестанным кашлем. Потом Савиньи подозвал Якоба, похлопав по скамейке рядом с собой.

— Как вам известно, Якоб, мы с Кунигундой можем ненадолго уехать в Париж, —

сказал он. — Многие рукописи, которые мне надо изучить для моей «Истории римского права», можно найти только там, в Национальной библиотеке. Вместе с другими моими обязательствами это займет месяцы, к тому же скоро родится ребенок. Поэтому, возможно, на данном этапе мне понадобится помощь. Отыскать нужные документы, сделать конспекты, снять копии. Может быть, вас это заинтересует? Работа сама по себе не столь вдохновляющая, как вам бы хотелось, но оставляет много свободного времени...

Якоб рассеянно махнул рукой в сторону Вильгельма.

— Герр профессор, мы почтем за честь, коли вы считаете нас пригодными для такой работы. Конечно нам это интересно! Но здоровье моего брата не позволяет говорить о путешествии.

— Я имел в виду только вас. Вильгельм, хоть он и может быть мне полезен, на год моложе, и состояние его не столь благополучно, чтобы его можно было отрывать от занятий. — Он посмотрел в сторону. — Мне, конечно, нужно получить согласие вашей матери.

— А, моей матери!

Якоб смотрел на трубку, которую фон Савиньи отложил при появлении жены. Мысль о неделе без брата заставила кровь побежать быстрее. Три года назад он приезжал в Марбург один, и все шесть месяцев разлуки Вилли был прикован к постели. Оставить его, уехать в другую страну, значило обречь его на новый приступ болезни. Но это только полдела. Якоб не мог себе представить, как *на него самого* повлияет очередное расставание. Шесть месяцев в Марбурге доказали ему, что без постоянного присутствия брата он теряет себя. Без Вилли, за которым неотступно следовало присматривать, он едва ли вообще знал, на что смотреть.

— Вопрос об оплате вашего пребывания во Франции не стоит. Вы будете нашим гостем, самым желанным гостем. А Париж — прекрасный город, Якоб. Он может убедить простить французам некоторые их... гадости. — Глаза его сверкнули. Не было более яркого патриота, чем Фридрих фон Савиньи. Именно он открыл братьям Гримм глаза на богатое, но полузабытое национальное наследие. Парадоксально, но его любовь к Германии не подразумевала ненависть к Франции. — А теперь пейте чай, пока не остыл.

Якоб повиновался. Позади него Вилли болтал с прелестной беременной женщиной:

— У меня, конечно, нет такого ума, как у Якоба. Но брат терпелив к моей медлительности. Иногда он снисходит до того, чтобы слушать мои неуклюжие наблюдения насчет тех сокровищ, что нам тут открылись.

Якоб с благодарностью смотрел на точеные черты их наставника, его прямые волосы до плеч. Савиньи не только показал братьям великолепные старинные рукописи, он указал им на богатство народных песен и сказок, что рассказывают простые женщины, пряильщицы, горничные и извозчики. И представил их школьным товарищам, Клеменсу Бретано и Ахиму фон Арниму, которые осуществляли литературную запись этих сказок.

— Благодаря таким людям, — сказал он, — первые капли ключевой воды напоят древо немецкой жизни. Напомнив нашим людям об их славном прошлом, мы начнем возрождать национальное достоинство. Не закон, но литература — устная, письменная, пересказываемая, передаваемая — вот что объединяет немецкий народ.

Странные слова для профессора права. Но Якоб уже знал, сколь они справедливы. У него самого не было склонности к изучению права. Если бы решал он, а не мать, он бы изучал ботанику. Но месяц за месяцем становилось ясно, что в семье совсем нет средств. При его трудоспособности очень скоро его обязанностью станет пополнять денежные средства, а не расходовать их, даже на образование.

— Вы выглядите рассеянным, Якоб, — улыбнулся профессор. — Но надеюсь, вы серьезно обдумаете мое предложение. Париж придется вам по вкусу. — Его лицо повеселело. — Подумайте сами, Якоб, — в этом великолепном городе вам некоторое время не придется быть *Старшим*.

Насколько могла судить Августа, одинокое утро Гримма прошло без происшествий. А после обеда она с удовольствием приняла его приглашение прогуляться вокруг нижней части города. Куммель, с которым у нее еще не было возможности переговорить, послушно следовал за ними.

Как в большинстве городков и городов на родине дяди, это место, казалось, было полно молодежи: дети, гонявшие обруч по тропинке, свешивались с низкого арочного моста, носились по улицам, полные энтузиазма и целеустремленности. Студенты, спесивые, как павлины, казались уверенными в том, куда идут, и завидно беспечными в отношении того, что их ждет впереди.

Гримм, шагавший рядом, выглядел озадаченным. Он мало говорил, хотя губы его порой шевелились, словно он декламировал про себя стихи или пытался найти новый ответ на вечный Немецкий Вопрос. Трудно было представить его зеленым студентом в этих краях. Да и вообще представить его молодым. *Давным-давно*, вспомнилось Августе из «Сказок», *когда желания еще исполнялись...*

Ее отец, напротив, никогда не терял детского интереса к миру. Августе он и не казался взрослым. Но возможно, думала она, когда они проходили мимо булочной, откуда доносился сладкий запах, некоторые становятся самими собой лишь к старости, когда поздно делать иной выбор. Она подумала о матери и о дяде. Пытаясь представить кого-то из них во цвете лет, она смогла лишь увидеть, как они пытаются — врозь или вместе — в безопасных сумерках убежать от непокорного настоящего.

Перед тем как они вошли в церковь Святой Елизаветы со шпильями по бокам, Гримм отправил Куммеля на почту с письмами. Несколько минут Августа надеялась, что случится чудо, и он сам решится заговорить о том, о чем она никак не отваживалась спросить. Но когда они вошли, он заговорил о церкви, о ее прекрасных памятниках и фресках.

Некоторое время они молча стояли у подножия статуи Святой Елизаветы пятнадцатого века в одном из боковых нефов. В Средние века ее так почитали, что сюда, поклониться мощам, прибывали паломники со всей Европы. Святая в богатом одеянии и с короной на голове возвышалась над Гриммом и Августой, держа в руках макет собственной церкви.

— Для аскетичной францисканской монахини, — не удержалась от улыбки Августа, — у нее потрясающий вид.

— В самом деле, — кивнул Гримм. — Сама она, несомненно, возненавидела бы такое изваяние. Но по происхождению она была принцессой, дочерью короля Венгрии. Возможно, статую заказали ее аристократические потомки...

И он пересказал некоторые легенды, связанные с ее именем. Но чем дольше Августа вглядывалась в прелестное застывшее лицо, тем меньше видела в нем святости и тем больше замечала черты принцессы, заточенной в этот высокий мавзолей, ожидающей дня, когда появится принц и поцелует и вернет ее к жизни. И тогда она радостно улыбнется, поставит макет своей церкви на пол и выйдет рука об руку со своим спасителем навстречу первым, за много веков, всполохам солнечного света.

У церкви их ждал Куммель. *«Мы ткем, мы ткем...»* Августа отчетливо услышала, как дядя вновь что-то бормочет. Это начинало ее раздражать.

— А-а, — наконец улыбнулась она, — из Гейне!

— Гейне! — слегка качнувшись, он быстро обернулся к ней. — *«Песня силезских ткачей»*, не так ли? Как я мог забыть! Эта строчка давно мучает меня. Спасибо, милая, спасибо!

— *Старая Германия, мы ткем тебе саван*, — процитировала Августа норочито-грозым тоном.

— *Тройное проклятье влетаем в него...* — подхватил Гримм. — *Мы ткем, мы ткем...* Хех! Что случилось с моей памятью?!

Августа почувствовала, как еще один призрак из его прошлого восстал и не исчез.

— Мне нравилось другое стихотворение, которое ты со мной разучивал:

Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
Зато в воздушном царстве грез
Мы с кем угодно поспорим.²

— Да, — улыбнулся он. — Это тоже Гейне.

Мыслями он уже далек от нее. На годы. На века. Вдали от письменного стола Якоб Гримм бывал самым собой очень редко и совсем недолго.

Вернувшись в пансион, они вместе выпили кофе, и он сказал, что ему необходимо написать несколько писем. Работа над «Словарем» подразумевала усиленную переписку. Так как цель была широка — включить технические термины, народные стихи и даже непристойности, не говоря уже о литературе нескольких веков, — и поскольку были необходимы примеры употребления, чтобы закрепить «естественную историю» слов в их контексте, ему нужна была сторонняя помощь. Но многие сотрудники оказались весьма недисциплинированы, к тому же они отличались странным подходом к сбору и сопоставлению материала, и он частенько жаловался, что тратит больше времени на переписку с ними, чем собственно на работу. Августа вернулась к первому, реймеровскому изданию «Сказок», пока дядя в гостинной исписывал страницу за страницей, время от времени поднимая глаза, чтобы слабо улыбнуться стене.

Могло стать, что он напишет и ее матери, в их квартиру в Берлине, спросит, зачем та позволила своей дочери тащить его в это бесполезное путешествие. *Самый дорогой человек в моей жизни*, думала она, когда ловила его случайные взгляды, и глаза ее наполнялись слезами. Лучше учиться, не путешествуя, всегда говорил он, чем путешествовать, не учась.

Одиннадцать лет назад все было бы иначе, когда мать и отец ездили летом в эти места, осматривали те же достопримечательности, селились в тех же домах. Отец бы себя не сдерживал. Встретившись за завтраком с той девочкой, он бы посадил ее на колени и заставил рассказать еще что-нибудь. В Марбурге он бы взял с собой мать и пошел осматривать крошечные комнаты студентов, большой дом Савиньи, лектории, замок. Но у дяди не было своей Дортхен, которой он мог бы все это показать. В этом-то вся проблема.

После обеда Гримм отправился «колоть дрова», а Августа вновь свернулась калачиком в обнимку со «Сказками». Отец делал много пометок на полях, обычно для напоминания, откуда или от кого история. Сказка, которую она читала, «*Поющая кость*», была с отметкой: *Дортхен, 19 января 1812 года, у плиты в летнем доме*. Сказка была о соперничестве братьев: один брат убил другого из корыстных побуждений, но кость от мертвого тела во всеуслышание пропела о том, что случилось. Убийцу в наказание зашили в мешок и утопили.

Не в первый раз Августа обнаружила, что бледнеет. Уже многие годы она не читала книгу так долго и внимательно. Разнообразие чувств от прочитанных сказок поглощало ее. Враждебность, зависть, злоба, ужас, одержимость, любовь перемешивались на каждой странице. И ей казалось непостижимым, что дядя — постоянно, безупречно строгий — пятьдесят лет назад поставил этот горшочек на огонь. Ибо в 1812 году он был зачинщиком этого дела, хотя отец и следил за выходом изданий до конца жизни, слегка обновляя содержание, чтобы приманить новых читателей.

Обычно она с пренебрежением думала о младшем «сказочном брате». Правда, он всегда болел, но дядя претерпевал куда больше. Воинственный коммерсант в соборе Святой Екатерины в Штайнау напомнил об этом: когда она была ребенком, братья бросили вызов королю Ганновера, но изгнали из города только Якоба. И только Якоб уехал искать новую работу, чтобы содержать их, строить новую жизнь в новом городе: не только для брата, но и для его семьи.

² Г. Гейне. Германия (пер. В. Левика).

Она даже принималась винить покойного — несправедливо, глупо — за то, что он оставил ее незамужней. Должно быть, повлияли «Сказки»: отцы в них отдавали дочерей первому встречному, убитому кабана. Но именно полнокровные, хотя и жестокие, события этих историй ее и будоражили. То, что в них так много всего *случалось*. Ни скуки, ни увиливаний от ответа, ни утаивания. И в глубине души ей было интересно, не хотелось ли дяде ускользнуть в дикий лесной мир, чтобы жить на лоне природы, а не бродить по опушкам, определяя растения и деревья для кого-то еще.

Короткий стук в дверь так удивил ее, что она пошла открывать с книгой в руках. На пороге стоял Куммель.

— Простите, что потревожил вас, фрейлейн. Я думал, вам интересно будет узнать, что с профессором все было в порядке сегодня утром. Он ходил в магазин посмотреть на шали. Затем поднялся в кофейню неподалеку от замка и провел там почти все время, большую часть которого писал. — Он колебался, и взгляд его упал на книгу. — Я просто подумал, вам интересно будет узнать.

— Да, да, очень! Спасибо. Шали, говорите?

Это звучало так знакомо. Но теперь, успокоившись, она подумала, что уже лучше понимает дядину внезапную тягу к одиночеству. Она сама ее часто испытывала, даже когда, казалось, изнывала в поисках общества. Кажется, натуры у них очень схожи.

Она улыбнулась, заметив что-то новое в облике Куммеля. Он неподвижно стоял в тени, но тело его словно подалось вперед. Он все смотрел на книгу, которую она прижимала к груди. Она не имела понятия, умел ли он читать, а если умел, мог ли из такого положения разобрать слова на переплете.

— Это сказки, которые профессор с моим отцом собрали в Касселе, — объяснила она.

— А, — сказал он как будто равнодушно, но тут же продолжил: — Кажется, профессор не заметил, что я шел следом. Я даже уверен, что не заметил.

— Хорошо. Я очень вам благодарна. Спасибо.

Она собиралась спросить, чем кончилась карточная игра прошлым вечером, но он отступил назад. Будто кто-то перерезал ленточку, перекинутую с плеча Августы на его грудь, так внезапно, что на мгновение она как будто потеряла равновесие. Он поклонился, пожелал ей спокойной ночи и ушел.

Августа постояла в задумчивости, потом закрыла дверь. У Куммеля не было никаких причин приходить к ней, но и причин так внезапно уйти тоже не было.

Глава восьмая

После случая на мостике принц старался не говорить ни одной из женщин, приветствовавших его по пути, ничего, кроме вежливого «добрый день». Но в этих дебрях женщин было значительно меньше. Сами деревья словно повернули к нему свои высокие кроны, отмечая его появление; когда листья нежно задевали его, ему казалось, они продолжают осмотр, начатый мельничихой. А там, куда неожиданно проникал солнечный свет, он терял счет времени. Деревья вокруг словно искажали время — или же создавали множество времен. Здесь ему представлялось, что все стремительно проносится мимо, там казалось, все течет плавно и медленно, как река с излучинами. Но никогда у него не возникало ощущения, которое преследовало в родном городе, — ощущения, что время едва тянется.

Мельничиха велела ему добраться до места, где не будет ни одного веретена, но насколько он мог разглядеть, ни в одном из домиков, которые миновал, не было прялки. Наконец однажды, ближе к вечеру, пробиваясь сквозь заросли и в кровь раздрав руки, локти и лоб, он вышел к озеру, окруженному лещиной и кустами ежевики. Две чайки устремились вниз от солнца, преследуемые дюжиной других, бесшумно круживших на небольшой высоте над озером, а затем пролетающих сквозь верхушки деревьев позади него, будоража громко кричавших грачей. Лучи заходящего солнца, казалось, зажигали искры на поверхности воды,

и поднимавшиеся со дна озера маленькие лопающиеся пузырьки ловили этот ясный свет.

Он постоял, зачарованный, и не смог устоять перед желанием раздеться и погрузиться в прохладу. Он не заметил молодую женщину, которая подошла и присела на ствол вишневого дерева неподалеку; ее золотистые волосы были обвязаны зеленым муслиновым шарфом, под цвет платья длиной до лодыжек. Пока он плескался и окунался, она тщательно свернула его рубаху, брюки и камзол. А когда он наконец повернулся к ней и распрямился там, где вода доходила ему до икр, она тоже поднялась и мило улыбнулась его попытке прикрыться.

— Нам следует дать тебе одежду получше, — сказала она, — более подходящую твоему положению.

И одним грациозным движением прихватив кипу его одежды, исчезла среди диких яблонь. Он последовал за ней, окликая ее и чувствуя скорее удивление, нежели смущение от своей наготы, — даже получая доселе неизведанное удовольствие от собственной худощавой гибкой фигуры.

Она скрылась ненадолго. Рощица все редела, и так он дошел до затененного урочища, обрамленного с трех сторон тополями и лиственницами. Большой деревянный дом — двухэтажный, с покрытой дранкой остроконечной крышей — стоял в глубине. В центре на треножнике над потрескивавшим костром, горевшим в специально выкопанной яме, висел горшок. Во всех направлениях ветер разносил клубы дыма, а от горшочка исходил дразнящий запах.

Не одна, а три женщины обернулись ему навстречу. Стоявшая ближе всех рассыпала корм для кур. Вторая сидела на стуле с дощатой спинкой, перебирая чечевицу. Третья была той девушкой с его одеждой. Все они были привлекательны, но у каждой — он увидел это, подойдя ближе, — был яркий физический недостаток. Та, что кормила кур, неуклюже двигалась, потому что правая стопа ее была огромной и расплюсченной. Большой палец на левой руке той, что перебирала чечевицу, был необычайно велик и уродлив. А нижняя губа той, которая подхватила его одежду, была столь опухшей, что он по ошибке принял ее за непристойно высунутый язык.

Пока он с жалостью и любопытством переводил взгляд с одной на другую, женщины обменивались понимающими взорами, по очереди объясняя:

— Из-за топанья.

— Из-за скручивания ниток. Все скручивала и скручивала.

— Нитку облизывала.

Он озадаченно нахмурился. Девушка с его одеждой уточнила, кивнув на хромую подругу:

— Она разделяла нить и работала с педалью, понимаешь? Тогда как я смачивала нить, — она сунула палец в рот, показывая, прежде чем указать на третью девушку: — а она скручивала ее и стучала по столу. И с каждым стуком отрез прекрасной пряжи падал на пол — миллионы, миллионы и миллионы раз.

— Вы работаете на одной прялке? — спросил он, чувствуя, как с него стекает озерная вода.

Они засмеялись.

— *Работали.* Теперь не работаем. Здесь нет прялок, нет веретен, сколько все себя помнят.

— Почему?

— А ты хотел бы прясть день и ночь напролет, если бы мог стать от этого таким уродливым?

Отвечая ему, третья девушка подошла к треножнику и рассеянно бросила одежду принца в костер. Она поддержала его ботинки, но, осмотрев подошву, тоже бросила их в поднявшиеся языки пламени. Ему стало холодно. Девушка, кормившая кур, подошла и легонько коснулась пальцем мурашек на его руке.

— Все веретена в округе были уничтожены, — сказала она, серьезно отвечая на его вопрос. — Слуги короля пришли забрать их, и потом по всему лесу горели костры. Мы

думаем, они пытались чему-то помешать. Это было так давно!

— Но вы выглядите моими ровесниками. Вы, должно быть, были детьми, когда пряли последний раз.

Она улыбнулась его наивности, но ответ ее был мягким.

— Может быть, год там, откуда ты пришел, длится дольше, чем здесь? В каждом мире ведь свое время, разве не так?

Он обдумывал их вопрос, не находя ответа.

— Так почему же были уничтожены веретена? Чему король хотел помешать?

— Никто нам не говорил, — сказала девушка с опухшей губой, подходя ближе к двери дома. — А мы не собирались задавать вопросы. Для нас — всех девушек и женщин — это был конец тяжелой и монотонной работы. Это было как чудо, как ответ на наши мольбы и мечты. — Она остановилась у крыльца и поманила его, стоя так далеко, что он не видел ее изъяна. — Заходи в дом.

Он покорно и быстро пересек поляну, бросив взгляд на обуглившиеся остатки одежды. За его спиной начал опускаться вечер, похожий скорее на дым. Лестница вела прямо ко входу в домик, и девушка, перегнувшись через перила, еще раз произнесла:

— Заходи скорее.

В доме было тепло, пахло чем-то вроде можжевельника и зимним гелиотропом, не по сезону. Ладные ступеньки под его босыми ногами не скрипели. У лестницы было, наверное, ступенек двадцать, но ему казалось, будто он поднимался по ней часы, а может, сутки. Чем выше он поднимался, тем дальше, казалось, уходил от городского времени. Мать стала далеким воспоминанием. Все, что он мог вспомнить о своих ранних годах, было зловещее пощелкивание веретена, крутившегося ночью в комнате матери. *Возможно, когда ты обнаружишь, что там,* сказала она ему, *тебе не захочется возвращаться.* И вот, придя сюда и чувствуя себя как дома, он не мог сказать, воплощение ли это его заветного желания или глубочайшего страха.

Дойдя до длинной галереи на верхней площадке лестницы, он оперся на искусно вырезанные ясеневые перила.

— Сюда, — позвала она из глубины комнаты за галереей. Он вошел и оказался в гардеробной. Вдоль передней стены висел впечатляющий ряд трубчатых, гофрированных, украшенных драгоценностями камзолов — до пояса, до колен, до икр — всех оттенков голубого, зеленого, шафранного и красного цветов. Под ними на деревянных вешалках висело много штанов — из атласа, кожи, бархата — а еще ниже, как в обувном магазине, стояли башмаки — с пряжками, шнурками, пуговицами, кожаные и деревянные. В комнате было темно. Девушка в зеленом муслине зажгла свечную лампу. Ему хотелось, чтобы она опустила лампу, но она держала ее перед собой, как щит.

— Все эти вещи когда-то принадлежали принцам, — сказала она.

— И где эти принцы сейчас? — Он сделал вид, будто смотрит по углам. — Что вы с ними сделали?

— Мы? Ничего. Одежда перешла к нам, когда стала им не нужна.

Он пожал плечами и добродушно покачал головой. За девушкой на стене висело изображение молодого человека в лунном свете. Это мог быть он, когда ходил по лесу. В самом деле похоже: человек на портрете был одет в его прежнюю одежду. Он протянул руку и потрогал красный бархатный воротник синего камзола, висевшего перед ним. Ниже висели кожаные штаны и стояли ботинки с серебряными шпорами. К петле был прикреплен парик, свеженапудренный, пахнувший табаком. Он заметил, что несколько разрезов в ткани камзола аккуратно зашиты. Ботинки тоже выглядели поцарапанными и поношенными, несмотря на лоск недавней чистки.

— Ты хотел бы надеть эту одежду? — спросила она из-за лампы. — Примерь ее.

— А потом? — спросил он, ожидавший чего-то другого.

— Потом ты, прилично одетый, продолжишь путешествие во дворец Розового Короля.

— Откуда ты знаешь, что я туда иду?

Она указала на комнату, полную одежды.

— Они все туда шли. — И предвосхищая его вопрос, продолжила: — Доходили до определенного места, а дальше пройти не могли. Пожалуйста, одевайся! Она говорила так, словно его нагота теперь ее раздражала, хотя до этого он чувствовал ее восхищение и интерес. — А прежде чем пойдешь, можешь поесть с нами.

Она поставила лампу на сундук и вышла из комнаты. И снова, еще отчетливее, он почему-то вспомнил противное пощелкивание веретена в комнате матери.

Прошло много времени, прежде чем он остался доволен своей внешностью. Правда, парик сидел неуклюже. Прежде чем взять лампу и спуститься по ступенькам, он бросил последний взгляд в овальное зеркало до пола. Одежда, бесспорно, придавала ему солидности, и даже выражение лица казалось не таким мальчишеским. Чего-то еще не хватало, но он не смог решить, чего именно.

Три прядильщицы приготовили ему место за уличным столом, на козлах. Когда он сел, никто из них не сделал замечаний по поводу его внешности, и никто ничего не сказал, пока они хлебали бобовый суп и ели хлеб и фрукты. Девушки уселись так, что их физические недостатки не были видны, и он нашел их всех столь красивыми, что с трудом проглатывал пищу и яблочное вино.

— Я вам очень благодарен, — сказал он, когда спустилась ночь, а они все еще сидели за столом.

— Не за что, — улыбнулась девушка с опухшей губой, ставя посуду к горячим углям, чтобы помыть. — Если бы могли, мы помогли бы тебе больше. Но нам неизвестно, что происходит во дворце. До него нелегко добраться, это мы знаем.

Он кивнул, не желая знать, что случилось с теми принцами, одежда которых висела наверху. *Она должна быть уже готова,* вспомнил он слова матери. *Для того, кто придет, когда настанет время.*

— Возможно, мне стоит вооружиться? — спросил он, и едва это произнес, сразу понял, что именно меча ему не хватало, когда он смотрелся в зеркало.

— Да, мы можем дать тебе оружие, — ответили все трое, — если ты этого хочешь.

Девушка с уродливой ногой прохромала обратно в дом и быстро вернулась с мечом в ножнах на простой кожаной перевязи. Она вытащила его, чтобы принц мог проверить лезвие, и меч со свистом рассек воздух. Девушка застегнула пряжку на перевязи, легонько провела рукой по его штанам, и он почувствовал желание. Но тут все три девушки отступили к домику.

— Ты не боишься, правда? — спросила та, что привела его сюда.

— Чего я должен бояться?

— Это вопрос времени или того, право ли время. Для тебя, для любого другого.

Он улыбнулся. Но когда повернулся, чтобы уйти, воспоминания о пощелкивании в комнате матери так громко отозвались в его голове, что он был рад, когда печальная песня голубей на ветках бука их заглушила.

Глава девятая

Перед тем как покинуть Марбург, Куммель подготовил корзину с едой на обед для профессора и фрейлейн. Поезд был уже в получасе езды от Касселя, и Куммель оставил свое место, чтобы сервировать легкую закуску в незанятом купе. Вернувшись, он обнаружил, что старик откинулся назад, а лицо у него цвета сыворотки — рот широко открыт, глаза закатились — фрейлейн же стояла, обмахивая его словно веером своей раскрытой книгой.

— Ничего, — выдохнул профессор через заложенный нос, заметив Куммеля. — Обычная болезнь путешественника. Ничего.

— Это произошло так неожиданно, — быстро проговорила фрейлейн. — Только что он спокойно читал и вот... Я слишком много всего позволила ему делать. Я должна быть предусмотрительней. Как вы считаете, может быть, ему следует дать нюхательную соль?

Куммель сел рядом с хозяином и ослабил ему галстук.

— Я полагаю, нам следует вывести его в коридор, на воздух. Там есть окно, которое можно открыть. Думаю, так он скорее придет в себя.

— Вы полагаете, ему можно двигаться? Ноги его удержат?

Но Куммель уже поднял его, приняв основной вес на себя, и вывел из купе. Оглянувшись на пороге, он увидел, что хозяйка опустилась обратно на свое место и смотрит неподвижным взглядом на сумки с багажом.

К тому времени как Куммель сумел открыть окно, Гримм вежливо сообщил ему, что в состоянии стоять на ногах без посторонней помощи. Куммель отступил, будучи все же начеку, глядя, как кровь постепенно приливает к впалым щекам. Профессор печально улыбнулся.

По правде говоря, ему было нетрудно служить. Он не просил гладить ему шнурки каждое утро, не изрыгал библейские изречения и нравоучительные сентенции. Он скорее казался смущенным тем, что ему служат, редко говорил, а когда ему отвечали, казалось, он не столько слушал слова, сколько вслушивался в то, как в них сочетаются различные звуки. Возможно, это естественно для человека, чьим именем назван закон о языке.

— Это непохоже на меня, — сказал Гримм к удивлению Куммеля, глядя на ряд домиков для новых работников. — Я обычно хорошо переношу путешествие. Переносил... многие годы.

Он вытащил платок и высморкался.

Оба смотрели на проносившиеся мимо золотистые поля и виноградники. В этих областях все еще встречались одетые как в средневековые сборщики урожая и извозчики в мягких широкополых шляпах. Они прерывали работу, чтобы помахать поезду, и дважды Гримм поднял руку в ответ. Мелькали небольшие сонные поселки, в щетине дымовых труб и угольных шахт, с выбеленными стенами и неровными, в рытвинах, пыльными базарными площадями, а вдоль линии горизонта все тянулась темная полоса леса. И повсюду, куда он ни смотрел, были дети, словно главный зерновой продукт. Куммелю эти земли казались безмятежными и в то же время неустроенными: непонятно какому миру принадлежавшие, ни древние, ни современные. На случайный взгляд все здесь выглядело удивительно тихим; ни один звук не нарушал тишину, даже вековой звон церковного колокола.

— Эта местность, — сказал старик, отбрасывая назад волосы, — некогда находилась под властью французов. Они превратили ее в королевство. Королевство Вестфалия. Здешний король приходился братом Наполеону Бонапарту.

— Я этого не знал, — ответил Куммель, — я полагал, что эта земля всегда была немецкой.

Странная тень пробежала по лицу Гримма.

— Немецкой она действительно была всегда, мой друг. И немецкой будет. Только ее оккупировали французы.

Куммель кивнул, совершенно не любопытствуя, где эта местность заканчивалась и начиналась следующая, где заканчивался один язык и начинался другой. Что такое национальная гордость, если не одна из форм почитания предков? И что на самом деле означают национальные различия? Взять хотя бы эти бесценные немецкие леса. Горластые патриоты, вздохавшие по тому, что они называли *Waldeinsamkeit*, «лесное уединение», находили в них какое-то глубокое моральное значение. Но Куммель слышал в Гарце, что многие места здесь заросли завозными быстрорастущими Дугласовыми пихтами. Сам он всегда больше поражался чертам сходства, столь предсказуемо пересекавшим все границы.

Попросив побольше открыть окно, Гримм все смотрел не на поля, а на свое отражение, совсем как в Ганау, будто в нем мог найти разгадку, отчего так плохо себя почувствовал. И выглядел он тоже плохо. Его кожа со дня приезда в Гессен была ужасна: время от времени она покрывалась пятнами, и вид у него был каким-то чумазым, запачканным — и настораживающе усталым. Куммелю пришло в голову, что библейский тезка Гримма, должно быть, выглядел примерно также после ночной схватки с ангелом.

Наконец вновь появилась фрейлейн. Куммель выпрямился при ее появлении, наблюдая, как она старательно возвращает на лицо улыбку. Она была в голубом шелковом дневном платье с кринолином, которое подчеркивало стройность ее фигуры. В глазах еще стояла тревога, и худыми пальцами она прижимала к груди открытую книгу, как ребенок, чтобы успокоиться, прижимает к себе потрепанную плюшевую обезьянку.

— Сейчас ты лучше выглядишь, дядя, — сказала она, взглядом прося у Куммеля подтверждения.

Гримм напряженно повернулся к ней. В этот момент вагон тряхнуло, и он пошатнулся. Куммель был слишком далеко, чтобы его поддержать. Фрейлейн протянула руку, чтобы поддержать дядю за локоть; книга скользнула по ее платью и чуть не выпала из рук. Куммель шагнул вперед, и фрейлейн, удерживая дядю, передала книгу ему, чтобы держать старика обеими руками и отвести назад в купе.

Войдя в купе, она не оглядываясь тут же закрыла дверь. А в воздухе еще витал легкий запах ее туалетной воды. Не будучи уверен, хочет ли она, чтобы он в любую минуту пришел на зов, и не желая стоять под дверью, как мокрый пудель, он бросил взгляд на книгу. Августа была на середине сказки *«Три сына фортуны»*. Куммель прочел несколько строк и улыбнулся. Человек пришел в землю, где еще не изобрели косу. Когда зерно созревало, там выкатывали на поля пушки и палили по полю.

Куммель открыл страницу с содержанием. Заинтересовавшись названием одной сказки, он пролистал книгу, чтобы найти ее.

Якоб остановился перед парижским домом Савиньи. Парадная дверь была открыта, к ней вели ступеньки высокого крыльца. Обратная дорога от Национальной библиотеки в этот апрельский полдень заняла времени больше, чем обычно. Намного больше. Савиньи сказал, что во Франции Якобу не придется быть Старшим. Но зато из-за его радушия, из-за посещений шумного театра и картинных галерей Якоб чувствовал себя в три раза старше своих двадцати.

За четыре месяца он еще ни разу не получил весточки от матери из Штайнау, хотя, судя по последнему письму Вилли, она намеревалась переехать с детьми в Марбург, чтобы быть ближе к ним обоим. Но когда Якоб вернулся домой, он не стал продолжать учебу. В то утро в библиотеке он наконец принял решение и теперь хотел, чтобы Савиньи первым о нем узнал.

Войдя в дом, он не обнаружил горничных, но услышал наверху разговор. Обычно Савиньи ждал возвращения Якоба из библиотеки у себя в кабинете, и они несколько часов работали вместе над его заметками. Но теперь на верхней площадке лестницы дверь комнаты профессора была широко открыта, а сама комната пуста. Все еще недоумевая, Якоб шел по коридору к своей маленькой обшитой деревом спальне, где Кунигунда поставила ему на стол симпатичную фиолетовую желтофиоль.

Он поднял осколок хрусталя, который использовал в качестве пресс-папье, и быстро пролистал пачку писем Вильгельма. Фразы плыли перед ним: *«Так ли прекрасны молодые женщины, как мы склонны полагать?.. Скучаешь ли ты по мне, дорогой брат, как я продолжаю скучать по тебе?.. Мама частенько пишет о трудностях с покупкой одежды для маленьких...»*

Мама... Почему она не пришлет хотя бы несколько строк с банальной болтовней? Почему так молчалива с тех пор, как любезно разрешила ему покинуть немецкую землю? Или она осуждает его за отсутствие, — за то, что он ее бросил, пусть и на время?

Служанка с кухни на мгновение заглянула в комнату, улыбнувшись с порога.

— Что такое? — спросил он на прекрасном французском, на котором без труда начал не только говорить, но и думать. — Где хозяин?

— Это случилось! — бросила она через плечо. — Это чудесно!

Якоб последовал за ней туда, откуда слышал голоса. Глупо было сразу не догадаться. Высокие двойные двери спальни Савиньи были распахнуты, и, казалось, половина населения

вражеского города находилась внутри. Все сгрудились вокруг кровати под балдахином, и Якоб заметил Кунигунду, которая лежала, покрасневшая и счастливая, с маленьким спеленутым свертком на груди. Это случилось. Это было чудесно. Но он не мог этой радости разделить. Он повернулся и вновь ушел в свою комнату с незнакомым ощущением влаги в глазах.

Ему нужно было написать Вилли — *поговорить с ним*, хотя бы и с помощью пера и бумаги. Это было частью его мучений. Он действительно скучал по брату, ужасно, хотя и не мог выразить столь сильные чувства в немногих словах. Если это второе расставание и научило его чему-то, так это тому, что он и Вилли — половинки одного целого; возможно, не единственного целого для каждого из них; возможно, даже не самого важного, но все же целого, не меньше и не больше. Во всяком случае, прежде — и это удивляло Якоба и согревало ему сердце — они всегда дополняли друг друга.

— Якоб! Якоб! — Савиньи увидел его в дверном проеме и вышел. — Войди, Якоб! Это девочка! Малышка!

Якоб почувствовал его руку на локте и, повернувшись, улыбнулся, не поднимая глаз.

— Поздравляю вас, герр профессор. Это великолепно! Вы стали отцом. Искренние поздравления, от меня и от моей семьи.

Савиньи крепче сжал его локоть.

— Ты в порядке, Якоб? — спросил он, наклоняясь, чтобы встретиться с ним взглядом. — Ты бледен. И голос изменился.

Якоб покачал головой. Он не мог говорить — боялся, что если начнет, слова уже будет не остановить: слова и, возможно, слезы. Он так давно не плакал, и слезы, запертые в глазах, застоялись.

— Может, ты тоскуешь по дому? Ты можешь сказать мне, старина.

Старина.

— Нет, — справился с голосом Якоб. — Я не тоскую по дому. Я счастлив здесь.

— Слишком счастлив?

Якоб сглотнул. Это было не так уж далеко от истины. Чем дольше он оставался вдали от Гессена, тем большим это было для него искушением. Вновь оказаться в лоне семьи — любой семьи, дружной и пополняющейся новыми членами — почти предел того, что могло выдержать его сердце. Но запах желтофиоли придал ему силы. И хотя сейчас было самое неподходящее место и время, он подошел к столу и сказал:

— Я не могу больше заниматься правом. Я не могу позволить себе продолжить обучение, и даже если стану специалистом, мне придется практиковать вдали от семьи. А это никуда не годится. Им нужно, чтобы я был с ними. С матерью, братьями и сестрой. Я всем им нужен.

— Ты принял решение? Но юриспруденция была профессией твоего отца.

— Да, это так, упокой Господь его душу. Но дело в том, что пойти по его стопам убедила меня мать.

— А сейчас она предложила тебе пересмотреть решение?

Глаза Якоба забегали.

— Я знаю, что нужен ей. Когда вернемся, я должен быть с ней. Она зависит от меня. Она всегда нуждалась во мне после смерти отца.

— И чем ты будешь зарабатывать для себя и семьи? Конторской работой?

Якоб кивнул. Он взялся бы за любую работу: он был способным, старательным, трудолюбивым. Должность налогового инспектора или секретаря в кассельском правительстве была бы ему по силам. Кроме того, его беглый французский был бы неоценим, учитывая нынешний объем переписки между наполеоновской Францией и немецкими государствами, втянутыми в ее орбиту.

— А Вильгельм? Он будет искать работу?

«Старший» уставился на пачку писем.

— С его здоровьем это сложно. Нет, один из нас должен завершить обучение. Но пока я

буду работать в Касселе, он может подрабатывать в Марбурге, мы будем вместе работать, собирая и редактируя старинные немецкие песни и сказки, с расчетом на их будущее издание.

Лицо Савиньи прояснилось.

— Хорошо! В этой сфере вы обладаете редкой проницательностью, Якоб. Будем надеяться, что там, где проиграет немецкое право, выиграет немецкая литература!

Он протянул руку, и Якоб подошел и пожал ее. Глаза мужчин встретились. Савиньи пригласил его во Францию, устроил ему побег, — и в конце концов он сбежал, но не в другую страну, а еще глубже в себя.

— А теперь идем, — сказал Савиньи, беря Якоба за руку, а другой рукой обнимая его за плечи, когда они выходили из комнаты. — Пойдем, я покажу тебе то, что может значить в жизни человека гораздо больше, чем книги по праву, конторские книги или даже — смею ли сказать? — книги народных сказок. Понимаю, сейчас трудно в это поверить. Но однажды ты сам все поймешь.

...И судья отправил еврея на эшафот и повесил его как вора.

Усмехнувшись, Куммель опустил книгу в зеленом переплете, дочитав до конца. Он видел языки пламени, злоеший старинный огонь, чувствовал на лице его иссушающий жар. Взяв книгу под мышку, он прижался к стене, чтобы дать пройти размахивающей лорнетом гувернантке с тремя мальчиками. Затем вновь пролистал четыре немногословные страницы «Еврея в ежевике».

Некогда у одного богача был честный слуга, так начиналась сказка. Этот честный слуга потешился, послав еврея с длинной козлиной бородкой в заросли ежевики, а затем заставив его неудержимо танцевать под звуки своей волшебной скрипки. Ежевика изорвала ему одежду, порезала и исцарапала его, но хозяин был неумолим. «В свое время ты ободрал уйму народу, — смеялся он. — Теперь пусть ежевика обдерет тебя!» Еврей обещал ему сумку золота, если тот прекратит играть. Он выплатил обещанные деньги, но потом все же попытался вернуть их, и его вынудили признать — после новой череды волшебных танцев — что он сам их некогда украл. Потому-то и получил по заслугам.

— А! — раздался голос, заставивший Куммеля захлопнуть книгу. — Кажется, я оставила «Сказки» в руках заинтересованного человека!

Он не слышал, как фрейлейн подошла. Она стояла рядом уже не с таким подавленным видом, но со своей обычной дежурной улыбкой. (Иногда Куммель представлял ее лицо как маску, истрепавшуюся от чрезмерного употребления, изъязненную которой она вынуждена ретушировать, засиживаясь до поздней ночи.) Руки ее были скрещены на груди, и, казалось, она не собиралась забирать у него книгу, хотя, очевидно, за ней и пришла. Куммель все еще чувствовал на лице пламя — сильный жар, — хоть и пытался скрыть его поклоном.

Он протянул книгу, и она взяла ее с любезной улыбкой.

— Вообще-то сказки вышли в двух томах, — сказала она. — Если вы обещаете бережно обращаться, буду рада дать вам один. — Глаза ее смотрели в сторону Куммеля, но, казалось, взгляд не достиг его, остановившись, возможно, на плотном старомодном сюртуке, который она, должно быть, часто видела на своем отце. Он был уверен, что она не заметила румянца у него на щеках, а также того, что огонь не только потрескивал в его памяти, но и разгорался сейчас между ними здесь, прямо в коридоре.

— Я не очень хорошо читаю, — ответил он, не делая попытки взять книгу обратно. — Я не читал много лет. Не уверен, что с этим справлюсь.

Он не мог удержать воспоминания. Они ворвались в него с неистовством, как всегда, ярко и живо: два десятка соседей, равнодушно кормящих пламя охапками книг; воздух, полный столбов дыма и кружащихся хлопьев пепла; сырой, резкий вкус чьих-то паленых слов в его горле, когда он выглядывает из укрытия; затем внезапные крики и чудовищный запах горящего тела.

Даже когда он подавил их, некоторое время в его голове раздавался необъяснимый,

низкий щелкающий шум, как однообразное хлопанье флага на жестком ветру или отрывистый отдаленный стук чьих-то башмаков.

Взгляд фрейлейн стал теплее.

— Как не стыдно! Это очень стыдно! Книги так разнообразят жизнь! Я не могу вспомнить, чтобы наша семья была без книг. Особенно, конечно, дядя.

Куммель был рад, что она перевела беседу на обычную тему. *Дядя, дядя.* Это отвлекло его от воспоминаний.

— Фрейлейн, мне интересно, — сказал он, — почему вы так называете профессора?

— Дядя?³ — Она улыбнулась, очень мило, и ее лицо смягчилось. — О, это домашнее имя, которое придумал один из моих братьев, когда мы были детьми. Это чтобы отличать дядю от папы, хотя для нас они были как близнецы. Видите ли, дядя всегда жил с нами. Мы всегда были вместе.

— Не вызывало ли это путаницы? Я имею в виду, когда вы были детьми.

Взгляд, какой она на него бросила, был пронизательным и беззащитно открытым, удивленным и приветливым. Казалось, он принадлежал совершенно другому лицу. Не заводной кукле, а нетерпеливому ребенку на пороге превращения в молодую девушку.

— Ну да, в некотором смысле. Да, можно так сказать. — И быстро отвела взгляд, будто ее ответ тоже вылетел из уст другого человека.

— Профессор пришел в себя?

— После приступа? Думаю, да. Спасибо за помощь, Куммель. Я в самом деле рада, что вы с нами. — Она взглянула на него, будто признаваясь, что раньше не была в этом убеждена. — Прошлым летом мы путешествовали с профессором на исторический съезд в Мюнхене, и, думаю, он находил мое постоянное общество... докучным. — Вновь сверкнула улыбка, и она спряталась за ее ослепительной, пустой вспышкой. — Ему нравится, что мое общество несколько разбавлено вашим.

— Сомневаюсь, фрейлейн, что ему оно по нраву. Если мне будет позволено сказать, ему повезло с такой любящей племянницей.

Улыбка стала столь вызывающе неискренней, что в каком-то другом мире Куммель схватил бы ее за щеки и стряхнул бы с нее эту улыбку.

— Он заслуживает всего, в чем только может везти человеку, — сказала она. — Он годами так упорно работал. Он не просто великий, Куммель, но еще и хороший человек. — Она слегка стукнула пальцем по книге. — Это нам повезло, что он у нас есть. Но мы все можем быть полезны друг другу, не правда ли? Каждый по-своему.

Ее взгляд переместился за его плечо, на вид из окна: поля и ряды живой изгороди, над которыми солнце разливало последние рассеянные лучи. Взгляд этот был таким сосредоточенным, что Куммель обернулся и тоже посмотрел в окно.

В поле его зрения оказался город, похожий на небольшой лес, разбросанный на небольшом участке земли перед сияющим темно-красным закатом, который превращал его в образ из детской книжки с картинками, а не вид из окна с закопченными стеклами.

— Кассель — родина моей матери, — сказала фрейлейн натянутым тоном, словно возвещая следующую остановку на крестном пути.

Глава десятая

Когда принц покинул домик трех прядильщиц, лес изменился. Солнечного тепла и света стало меньше. Ему казалось, что он идет через область вечного мрака, хотя кроны деревьев были не так уж высоки, а небо не закрыто облаками. Будто между небом и землей была брошена вуаль, и не шагай он вперед с таким интересом, он бы счел, что все это не

³ В оригинале Августа называет Гримма словом *Арапа*, с чем и связано дальнейшее объяснение (*Арапа и Рапа*).

сулит ему добра.

Не желая изорвать свою прекрасную одежду о подлесок, он держался тропинок. Ночами снимал камзол, складывал его и клал в укромном месте, решив по прибытии во дворец выглядеть как можно лучше, поскольку не сомневался, что внешность будет иметь значение. Но чем дальше он шел на восток, тем труднее было подниматься по утрам. Он не мог сказать почему. Склоны были не круче, чем на западе, и он был все так же полон энергии. Казалось, усталость подкрадывалась извне, вея на него, как поток холодного воздуха с гор, который морозит внутренности, пока не начинаешь чувствовать себя онемевшим до мозга костей. И каждый раз, просыпаясь, он ощущал, что скорее получил временную передышку, чем по-настоящему отдохнул.

Чем выше он взбирался, тем более нехоженой становилась дорога. Он мог заметить, что когда-то она была шире и еще хранила недавние следы: глубокие отпечатки копыт, сухие тележные колеи. Временами он обнаруживал придорожные камни с вырезанными цифрами и стрелками, указывавшими на восток, а высеченная на камнях корона свидетельствовала о том, что это была главная дорога, которая вела к королевскому двору. Вернее, эта дорога когда-то была главной.

Но хотя некоторые следы были свежими, в этих краях было меньше людей, чем где бы то ни было за все его путешествие, меньше было и признаков жизни. Даже ветки с почками выглядели застывшими, а цветущие кустарники оплетены паутиной. Сам воздух был словно несвеж и разрежен. От земли до самой верхушки зеленого полога не было слышно ни птичьих криков, ни шелеста деревьев.

Будто Создатель прижал палец к губам, показывая, что хочет, чтобы эта часть Его сада затаила дыхание. И по мере того как принц продвигался к огромной скальной гряде, высшая точка которой была скрыта запутанными кронами, он ловил себя на том, что шагает тише и расчетливее из опасения потревожить это глубокое неестественное спокойствие.

Дорожка вела к основанию гладкой, почти отвесной серо-голубой скалы. Когда подошел ближе, он снял одежду и сложил в углублении, поросшем мхом. Усталость кралась за ним по пятам. Прищурившись и глядя вверх, он впервые рассмотрел вершину скалы: венчали ее не башни дворца, как он предполагал, а густые заросли чего-то вроде терновника, чьи очертания выделялись на фоне темнеющего неба, как огромная тернистая корона.

Он закрыл глаза и провалился в беспамятство легко и скоро, будто старый слуга незаметно вошел в запертую комнату его сознания и осторожно, один за другим, набросил на мебель темные чехлы.

Будучи не в силах передвигаться, он спал, казалось, несколько недель, при этом сознавая, что солнце встает и садится. Создатель больше не прижимал палец к губам, но указывал им прямо на спящего. Затем, без предупреждения — будто по щелчку большого и указательного пальцев — все закончилось.

Принц открыл глаза нежным золотистым утром и почувствовал, что отныне он легок и гибок и готов вскочить на ноги. Но не успев даже бросить взгляд на скалу, он вдруг услышал крик: «Хех!» — и, обернувшись, обнаружил, что не один.

Невысокий сгорбленный человек в парике, готовился схватить одежду принца и его меч на перевязи.

— Ты! — вскричал принц, прыгнув и схватив его за бархатный воротник. — Ты хотел украсть мои вещи?!

Человек издал сдавленный крик. Парик его упал, открыв копну взъерошенных седых волос. Он выглядел таким старым и испуганным, что принц понял, что ему нечего бояться. Но что-то в глазах человека подогревало его гнев, и он продолжал держать его за воротник, как потрепанную игрушечную обезьянку.

— Нет, вы неверно поняли! — запротестовал тот. — Я не вор. Я мажордом, управляющий королевского дворца, как мой отец и дед, — точнее, был бы им, если бы во дворце еще жили. Я не поврежу ни вам, ни вашим вещам. Как раз наоборот!

Принц, нахмурившись, отпустил его, отступил в сторону и быстро оделся. Тем

временем управляющий поднял парик, но вместо того чтобы натянуть обратно, перебирал в руках.

— Простите, что рискую вновь вас прогневить, — запинаясь, проговорил он, — но вы собираетесь взбираться к дворцу Розового Короля в этой прекрасной одежде?

— А если и так? — Принц пристегнул обратно перевязь с мечом и бережно водрузил на место собственный парик. Это было не так легко, как прежде. Волосы порядком отросли с тех пор, как он заснул. Да и подбородок покрылся густой бородой.

— Она сильно страдает, — ответил управляющий. — Так случалось уже много раз.

— А тебе что за дело? — Он пристально посмотрел на него и вдруг осознал, что тот похож на его отца, сторожа. Темный сюртук и брюки тоже напоминали отцовский наряд. Отчасти поэтому один вид этого человека так раздражал принца.

— Путь вверх, во дворец, непроходим. Так было много лет, сколько именно — никто не помнит. Никто не может пробраться. Я похоронил здесь кости многих погибших принцев.

— А затем починял их одежду и продавал?

— Не такую жизнь я бы для себя выбрал. Клянусь, у меня не было видов на вашу одежду. Мне стало грустно видеть еще одного юношу, готового погубить себя. Я хочу лишь отговорить вас от попытки взбираться. Дворец окружен терновником, который притупляет даже самый острый меч.

Принц выпрямился, сжимая эфес. У него не было ни малейшего сомнения, что — по каким-то своим причинам — этот человек говорит правду. Но принцу не хотелось с ним соглашаться. *Это вопрос времени*, сказала ему девушка с опухшей губой. *Она должна быть уже готова*, сказала мать, *для того, кто придет, когда настанет время*.

— Ты говоришь, дворец заброшен? — спросил он. — А что с дочерью короля?

Управляющий продолжал нервно вертеть парик, по-птичьи наклонив голову, по-видимому, чтобы слушать тем ухом, которое лучше слышало.

— Да, во дворце есть принцесса. Но она спит, как и вся округа. Много лет она спит в самой старой сторожевой башне, с тех пор как колдунья наложила на нее чары.

— Чары?

— Чтобы предотвратить смерть принцессы от укола отравленным веретеном.

— Чары, яды! — засмеялся принц, поглаживая бороду и наслаждаясь новыми властными нотками в голосе в сочетании с новой уверенностью в себе и своих силах. — Ты говоришь так, будто это детская игра. Но это лишь вопрос времени, — окажется ли время правым. И сейчас мое время.

Мажордом вперил в него взгляд.

— Откуда вы пришли? — спросил он уже другим тоном. — Из каких краев?

Принц описал, откуда он, возясь с лацканами и воротником. Это был прекрасный день, наполненный запахами весны и птичьим пением. Я принц, говорил он самому себе, и это была правда.

— А вы там, на западе, слышали о колдовстве? — упорствовал управляющий. — О принцессе, чей смертный приговор был заменен вечным сном? Кто рассказал вам об этом? Кто послал вас? Это была женщина?

Вместо того чтобы ответить, принц прошел мимо него к месту, где начинались ступеньки.

— *Срок*, говоришь, — бросил он через плечо. — *Срок*. Всем срокам приходит конец, не так ли?

Мажордом, все еще беспокойно теребя парик, последовал за ним. Нисколько не заботясь о собственной безопасности, он дернул принца за камзол и остановил его.

— Подумайте, умоляю вас! Вы дошли так далеко, как вам было надо. Вы можете пойти отсюда в неизведанные пределы. Зачем выбрасывать жизнь на ветер? И может быть, не только вашу собственную?

Молодой человек обернулся так резко, что управляющий потерял равновесие и упал на изрезанную колеями землю.

— Что ты знаешь о моей жизни?! — закричал он. — Или о том, насколько далеко мне *нужно* зайти?! Да я лучше вот так потеряю жизнь, чем кончу ее как ты, сдирая одежду с мертвых. Что это за жизнь? Ты никогда не думал о том, чтобы пройти весь путь и дойти до принцессы?

Маленький человек лежал в пыли, опираясь на локти, потерпев позорное поражение.

— Дворец, — спокойно возразил он, — всегда был за пределами моей досягаемости. Я признал это много лет назад. Иди, коли должен, но ты не спустишься вниз с той же улыбкой на лице. Ибо даже если не встретишь препятствий, мой друг, на этом твои приключения не закончатся.

Затем он сделал странную вещь. Не отводя слезящихся глаз от принца, он достал из кармана маленькую глиняную трубку и начал стучать ею, сильно, но беспорядочно, о пряжку туфли. Звук эхом раздавался вокруг, превзойдя, казалось, пение птиц. И этот звук был поразительно похож на тот, который доносился из комнаты матери принца по ночам, когда она сидела за прялкой.

Принц в замешательстве отвернулся, поставил ногу на первую ступень и начал взбираться туда, где его ждала принцесса.

Глава одиннадцатая

Той ночью Гюстхен пришла раньше, чем в Ганау, Штайнау и Марбурге. После приступа в поезде Гримм удивился, что она позволила ему после обеда совсем исчезнуть из вида. Он сидел за столом, когда она вошла, и повернулся на стуле, чтобы оказаться к ней лицом. Как обычно, тщательно вымывшись, он переделся в серый хлопчатобумажный халат и восточные туфли с загнутыми носами.

Августа с легким щелчком закрыла за собой дверь, ее бледная кожа в свете лампы на комоде казалась полупрозрачной. Она держала старое рождественское издание «Сказок для молодых и старых», принадлежавшее Вилли.

— Ты больше похож на себя, — сказала она. — Цвет лица. Глаза. Ты хорошо себя чувствуешь сегодня? Недомогание прошло?

— Гюстхен, дорогая моя, тебе самой не надо так волноваться. Обычная дорожная болезнь, ничего более.

— Но тем не менее ты не разрешаешь доктору посмотреть тебя!

— Абсолютно незачем! Для чего терять время? — Или, подумал Гримм, предоставлять себя на милость шарлатана, который выкачает из тебя много крови и пропишет бесполезные слабительные.

Когда Гюстхен заставила себя улыбнуться, он вдруг чихнул, потом еще раз. Сморкаясь, поинтересовался, почему она приходит к нему каждый вечер. Ребенком она тоже любила заглядывать к нему, чаще, чем кто-либо из ее братьев. Но даже тогда в его обществе она, казалось, теряла дар речи или, может, необходимость говорить.

— Тебе нравится твоя комната? — серьезно спросила она.

Он махнул рукой на коричневатые стены и массивные дверные ручки с львиными головами. По совету Дортхен она выбрала гостиницу на краю парка Вильгельмсхёэ, к западу от шумного города с его винными погребками и табачными лавками. Он даже видел, как мимо окна пролетали лебеди.

— Уютно, — кивнул он. — Да, вполне уютно.

Поднявшись на ноги, снова чувствуя онемение в правой руке и боку, он дошел до кресла с высокой спинкой подле латунной кровати. Оно было обито красным бархатом, который немного вытерся, и профессор указал на белое пятно на спинке.

— Видишь, — продолжал он, садясь и прижимаясь к спинке затылком, — они сдавали эту комнату людям моего роста! И посмотри на это.

Он вновь встал, немного постоял, чтобы собраться с силами, прежде чем подойти к комоду. Там стояли две маленькие фарфоровые фигурки в одежде восемнадцатого века.

— У нас была такая же пара, у твоего отца и у меня. — Продолжая говорить, он взял головку маленькой статуэтки большим и указательным пальцами и, к удивлению Гюстхен, вытянул ее из шеи. Вернув на место, слегка толкнул ее, и несколько минут фигурка кивала. *Мы ткем, мы ткем*, размышлял он, до головокружения глядя, как затухают ее колебания. Похоже, эта строчка не собирается оставить его в покое.

Он вернулся за стол, пытаюсь скрыть недомогание. Похоже было, будто кто-то методично колет и пихает его в бок, а он не замечает. Ослепительная улыбка Гюстхен выдавала ее тревогу; она не выказывала намерения пожелать ему спокойной ночи и уйти.

— Я почти закончила читать «Сказки», — сказала она тихо.

— А, должно быть, для тебя это развлечение.

Она смотрела мимо, на обитое бархатом кресло.

— Они заинтриговывают меня. Они такие пылкие. Переполнены дикими... эмоциями. — Она улыбнулась, чем-то озадаченная. — Должна признать, что нахожу некоторые из них пугающими, хотя я этого не чувствовала, когда была моложе. Образы; они часто *варварские*.

— Так нам их рассказали, — Гримм пожал плечами; выражение ее широко открытых глаз подталкивало его продолжить свою мысль. — Возможно, иногда нам не нравилось то, что мы слышали, но мы должны были записывать точно. В конце концов, то, что говорит народ, есть то, что представляет собой этот народ. Но конечно, немецкие варианты некоторых сказок отнюдь не варварские, хотя могли бы такими быть.

Было видно, что для нее это новость.

— Правда? И какие же?

— О, например, «*Спящая красавица*». — Ее глаза снова расширились. — Наша заканчивается приходом принца: пробуждением и свадьбой. В других вариантах это была лишь середина куда более жуткой сказки. Посмотри французский вариант: Перро, «*Красавица в спящем лесу*». Губы Гримма шевелились, будто он сам припоминал: война, вынужденное отсутствие принца, мерзкие склонности существа, взявшего бразды правления...

Гюстхен не отвечала. Ее рассеянный взгляд стал напряженным.

— Почему ты вернулась к «Сказкам», Гюстхен? — спросил Гримм.

Она взглянула на него, будто вдруг вспомнила, что он тут; может, она зашла сюда в полусне?

— Мне было интересно читать их там, где ты их собирал. Я думала, это заставит меня иначе взглянуть на них.

— Это было давно, Гюстхен. В другом мире.

— Но ведь то время все еще живо для тебя? — Румянец так ярко проступил на щеках, что ему показалось, она перегрелась. А затем, к своему испугу, он увидел, что у нее дрожит губа.

— В некоторых отношениях — да.

— А возвращение в эти места разве не пробуждает память? О том, что здесь было? О пылких чувствах, которые ты сам испытывал?

Он смотрел на нее в тяжелых раздумьях. Губа у нее по-прежнему дрожала. Изящные пальцы так крепко вцепились в книгу, что она могла бы удержать всех карликов и великанов-людоедов из сказок, чтобы они из нее не выпали. Очевидно, для нее это было важно, но Гримм понятия не имел, что она хотела услышать; все, что он смог воскресить в памяти, — заглавные слова из материалов по «Словарю»: сложные существительные с корнем *Familie*. В словаре немецкого языка, который он использовал, будучи ребенком, и который все еще хранил в берлинском кабинете, было только пять таких существительных; сейчас он имел дело примерно с девятью десятками.

Прежде чем он смог заговорить, снаружи послышался стук. С некоторым облегчением Гримм кивнул, и Гюстхен пошла открывать.

— Что ты там пишешь?

Якоб вздрогнул, когда мать с ним заговорила. Инстинктивно согнул руку, закрыв письмо, стараясь не запачкаться невысохшими чернилами. Он не слышал, как она входит в комнату. Отодвинул стул от письменного стола и встал, чтобы встретить ее в дверях.

— Всего лишь письмо Савиньи, мама. — Он улыбнулся. — Итак, сегодня ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы подняться. Прекрасно.

Она кивнула и получше запахла халат на шее, украдкой бросив на него взгляд и отвернувшись от яркого утреннего света, заливавшего спальню Якоба.

— Савиньи? — повторила она, словно, произнося имя вслух, силилась соединить его в своей затуманенной памяти с какими-то сведениями. И ей это удалось. — Он обладает большими связями, да? Он мог бы продвинуть твою работу.

Якоб улыбнулся. Он стоял вполоборота от нее к сияющему окну, так что — не в первый раз за эти трудные месяцы — они, разговаривая, смотрели в противоположных направлениях.

— Я не прошу у него помощи такого рода.

— Понимаю.

— Я знаю, он сделал бы все, что мог, мама, но сейчас мы живем в другом мире.

Якоб не был уверен, что ей удалось понять, почему: потому что старый рейх был уничтожен, у гессенцев не было больше курфюрста, а был корсиканский король-марионетка. («Короли, курфюрсты, лесорубы, — говорила она, — какая разница?») Но он бы хотел, чтобы она поняла, почему он с негодованием ушел из гессенского военного училища, когда из него сделали комиссариат, при участии которого оккупационные войска Бонапарта грабили город. К тому времени, когда с этими стервятниками было покончено, во всем Гессене едва ли остался хоть один позолоченный подсвечник.

— Так что же ты рассказываешь своему Савиньи? Здесь мало новостей.

Соседская перепелка, сидящая в клетке на низком окне, завела свою навязчивую песню.

— Я переписываю для него некоторые старые истории. Он просил их отчасти для того, чтобы развлечь трехлетнюю дочь, но и потому, что мы обсуждали возможность, которая есть у нас с Вилли, подготовить собрание и опубликовать его.

Он был рад, что не видит выражения ее лица. У нее редко хватало терпения спокойно относиться к этому увлечению братьев, а сейчас его было еще меньше, поскольку она зависела от благотворительности родственников, которая позволяла сохранять платежеспособность ее семьи. Она даже перестала пить чай, потому что не могла позволить себе сахар.

— И какие истории ты выбираешь для трехлетних девочек?

— «*Месяц и его мать*», «*Румпельштильцхен*», «*Можжеватель*»... Все тебе хорошо известные.

— Еще бы не известные! Ведь это я рассказала их тебе! Но ты действительно полагаешь, что кто-нибудь опубликует эти вещи или заплатит приличные деньги за то, чтобы их прочитать? Разве это не просто плод праздных умов, женщин за прялкой, матерей, подолгу сидящих с детьми? *Разве это не так?*

Пораженный ее горячностью, Якоб смотрел на ее осунувшийся профиль. Когда-то она была пухленькой большеглазой женщиной, а теперь у нее проступили лицевые кости, а серая кожа обвисла. К пятидесяти трем годам она вынесла двенадцать скорбных лет вдовства и имела шестерых детей, ни один из которых не был обеспечен. После стольких ее разочарований *что* мог сказать ей Якоб о своих «Сказках»? Ему всегда было нелегко разговаривать с матерью так, как она хотела чтобы с ней разговаривали. Сейчас это стало почти невозможно. Но слава богу, ему почти не приходилось вести с ней такие разговоры...

— Ты обижаешь и себя, и сказки, мама! — произнес веселый голос из коридора.

Якоб смотрел, как мать повернулась в ту сторону, откуда вбегал улыбающийся Вилли, с еще затуманенным после сна взором, затягивая пояс на старом отцовском халате.

— Во всех германских странах сказки, что передавались из поколения в поколение,

больше не в моде. Если их не сохранить так, как Якоб этого хочет, — в том виде, как они были рассказаны, — наше драгоценное наследство может быть утрачено навсегда.

— А разве это важно? — Она повернулась к Якобу.

— Да, мама, я думаю, что да.

— Даже если твои любимые немецкие государства перестанут существовать на карте, о чем ты не устаеть нам напоминать?

Якоб лишь вспыхнул, Вилли усмехнулся и прочистил горло, чтобы подавить кашель.

— Тогда это будет еще важнее, мама! — сказал он. — В сказках живет народный дух, наша живая душа. То, что они принадлежат всем нам, и делает нас народом. Так ведь, Старший? — Он взглянул на брата с мимолетной тревогой.

Якоб благодарно кивнул, и несколько минут они с матерью продолжали пристально смотреть друг на друга, покада перепелка громко насвистывала над толкотней двуколок и тележек на Марктгассе. Якоб почти слышал, как мать думает, что именно из-за этого он бросил право, свою профессию. Для Доротеи Циммер Гримм вопрос всегда заключался в деньгах. К тому же он никогда не мог найти к ней подхода, так же, как и она, — кроме волшебных сказок.

— Прощу прощения, что побеспокоила, — сказала она наконец и шумно двинулась к выходу.

Якоб подошел к двери.

— Что-нибудь принести? — спросил он ее сгорбленную спину, вдруг возненавидев то, что видит ее столь угнетенной из-за потери человека, которого она любила больше всех, и испытывая смятение при мысли, что когда-нибудь и он станет таким же. — Могу я что-нибудь для тебя сделать?

Она сделала вид, что не слышит, и выходя из комнаты, плотно закрыла за собой дверь. Вилли положил руку на его рукав.

— Пиши, — мягко сказал он. — Я пойду к ней. Не беспокойся.

Якоб посмотрел на бледную руку, такую хрупкую, что он едва чувствовал ее вес. Лишь несколькими днями ранее больной брат рассказал ему о своем повторяющемся сне — ночь за ночью он видел их с матерью в Амтсхаусе, а себя среди них — незванным гостем. Бедный дорогой Вилли! Как могло случиться, что он не понимает, насколько всем им нужен?

— Твое письмо, — еще раз напомнил младший брат и добавил чахоточным голосом, похожим на голос покойного отца. — *Никогда не отвлекайся от написанного!*

Они грустно рассмеялись и пошли каждый по своим делам.

Августа открыла дверь, впустив Куммеля, который нес хозяину стакан теплого пива, смешанного с яйцом, сахаром и мускатным орехом. Старик одобрительно улыбнулся и посмотрел, как Куммель, подойдя к окну, задернул муслиновые занавески.

Гюстхен тоже следила глазами за слугой. Гримму стало интересно, будет ли она стоять как бледная статуя все время, пока Куммель постелит ему и приготовит одежду на утро. Он осторожно взял стакан и отпил пенящееся снадобье. Оно смягчило горло, но не уняло колюще-режущей боли, которая жгла ему правую руку.

— Хозяин, — обратился к нему Куммель, — мне приготовить лучший сюртук и ботинки для церкви на завтра?

— Для церкви? А-а-а, да. Пожалуйста.

— Дядя, — Гюстхен опомнилась. — Насчет завтрашнего. Ты извинишь меня, если я не составлю тебе компанию? Я пойду в церковь позже. Мне кое-что нужно подготовить для заключительной части нашего путешествия...

Ее дрожащий голос понизился до шепота. Гримм представить себе не мог, какими приготовлениями она вздумала заниматься в воскресенье, но настроение ее было так переменчиво, и он просто молча кивнул.

— Конечно, я не возражаю. Как тебе лучше, милая.

— Я уверена, что Куммель, — добавила она, заставив слугу замереть в тот момент,

когда он откинул занавес, отделявший комнату от гардеробной, — охотно составит тебе компанию.

От Гримма не укрылось, как мгновенно расширились глаза Куммеля, будто его укусили сразу две блохи, прежде чем он покорно склонил коротко остриженную голову.

— Я не хочу затруднять Куммеля, если он сам не хочет идти со мной, — сказал старик, вспомнив, как подавлен был тот в церкви Святой Екатерины в Штайнау. — Я вполне способен сам пойти в город и вернуться. — Он вновь увидел, как глаза Куммеля расширились, на этот раз при взгляде на Августу. Не в первый раз она напомнила Гримму ее собственную мать, Дортхен, когда той было лет тридцать.

— Нет, — настаивала Августа с упрямством, достойным ее матери. — Я бы чувствовала себя *намного* спокойнее, если бы ты не был один, дядя.

— А, посмотрим, — Гримм не собирался спорить с ней при слуге, но ее беспокойство, казалось, возрастало с каждой минутой, а она ведь еще не знала об онемении.

Он отхлебнул еще снадобья, прислушиваясь к тому, как Куммель чистит его сюртук за занавеской. Гюстхен все еще стояла, словно прибитая гвоздями к полу, как ребенок, выпрашивающий обещанную сказку на ночь.

— Ты выглядишь уставшей, — сказал он. — Тебе надо выспаться.

— Да, правда, я не очень хорошо сплю, — призналась она, когда Куммель вновь вышел в комнату, чтобы забрать на чистку туфли Гримма. Он медлил, не решаясь пройти между ними. — Но и тебе не мешало бы побольше отдыхать и не засиживаться за «колкой дров».

— А, только молодым нужен сон. Молодым и красивым!

— Фрейлейн, — пробормотал Куммель, — если вы неважно спите, не хотите ли, чтобы я и вам принес питье на ночь? Может быть, немного теплого молока? Я могу принести, когда почищу туфли профессору.

Взгляд ее забегал по сторонам. По лицу пробежала улыбка, но глаза остались встревоженными.

— Да, молока было бы неплохо. Спасибо.

Кивнув, слуга дал понять, что ей нужно выйти из комнаты. Прищурившись, будто она действительно зашла сюда в полусне и сейчас поняла, что проснулась в незнакомом месте, она беспрекословно послушалась молодого человека, чего никогда бы не сделала для старого.

Глава двенадцатая

Подъем оказался легче, чем принц ожидал. Чем выше он поднимался, тем меньше зарослей встречалось на вьющейся тропинке, а воздух с каждым шагом становился все свежее. Былая медлительность ушла. А что до непреодолимой преграды из колючек, то ему так и не пришлось использовать меч. Единственное, что ему довелось преодолеть, — пестрый акант, гиацинты и примулы.

Дворец стоял вдали от края утеса. Он это увидел только тогда, когда достиг вершины и остановился, дивясь его красоте в ясном теплом свете. Он был огромен и прекрасен со своими снежно-белыми угловыми башнями и золотыми куполами, окруженный липовыми аллеями и шпалерами винограда. Воздух пронизывали летние запахи, но ни один аромат не чувствовался так сильно, как благоухание раскрывшихся роз.

Пройдя через солнечный двор, он услышал, как замедлилось эхо его шагов, словно его вбирал в себя сладковатый изголодавшийся по звукам воздух. Звук отсюда шел так долго — звук, жара, цвет, движение. Старик внизу говорил о сроке, но об ином, нежели тот, что отбывала принцесса. Уснула она — и уснул мир вокруг нее. Теперь настает благодатное пробуждение, которое у принца сочеталось с желанием куда более острым, чем испытанное им ко всем встреченным в лесу женщинам.

Войдя, он ощутил, что дворец вздохнул, от высокого мраморного потолка атриума до основания каждой замысловато инкрустированной колонны. В парадном зале взгляд его

сразу приковала сверкающая масса драгоценностей в высоком буфете. Присмотревшись, он узнал двенадцать золотых шкатулок с откинутыми крышками, которые являли взору столовые наборы, украшенные драгоценными камнями.

Улыбнувшись, он двинулся дальше. Пока он шел через концертный зал, игорный зал, комнаты и гостевые, солнце, казалось, тянулось за ним, как плащ, возвращая к жизни каждый каменный уголок, каждую дубовую балку и вышитую портьеру, — пока он не дошел до лестницы, ведущей в самую старую башню.

Он думал, что восхождение окончено, но лестница вилась все выше и выше, звеня под его башмаками, омытыми легким дождем. Он думал обо всех принцах, которые отправлялись сюда в надежде совершить последнее восхождение. Столько человек за столько лет; столько жертв колючих зарослей. Они не почувствовали запаха тех роз. Его же словно обдавало бесчисленными лепестками, плававшими в собственном аромате, в том месте, где он пытался бороться со сном.

Он пришел туда, где ступени заканчивались. Справа было окно, пропускавшее свет через покоробленную временем свинцовую решетку. Слева — узкий проход на мрачный прядильный чердак, дверь была приоткрыта, в замок вставлен ржавый ключ. *Когда ты придешь во дворец, станет ясно, что делать.* Казалось, его путь от темной материнской комнатки до вершины этой башни отмерялся веретенами. Он посмотрел в окно.

Долина, зеленеющая, солнечная, безмолвная. Когда он пришел, царство Розового Короля от его легкого прикосновения возвратилось к жизни, проснулись даже мухи, которые теперь, жужжа, летали и ползали по стеклу. Вышел срок, сказал он самому себе; конечно, срок вышел. Он отвернулся от окна и двинулся по проходу.

Когда он толкнул дверь чердака, солнечный свет, пробивавшийся через высокое окно в нише, освещал большую кипу льна возле узкой кровати, отражался от серебряных спиц прядильного колеса. Он почувствовал присутствие принцессы раньше, чем увидел ее.

Еще в дверях он опустил взгляд. Он видел ее только со спины, и изгиб ее тела заставил его задрожать. Она так грациозно лежала на изразцовом полу среди разбросанной соломы, и солнечное тепло ласкало ее верхнюю губу и плечо. Ее распущенные волосы были золотистыми, как лен, и играли серебристыми отблесками, вроде тех, что отражались от спиц колеса.

Как и говорил мажордом, подойдя ближе, он заметил на ее пальце несколько старых сгустков крови, уже превратившейся в пыль, от укола отравленным веретеном. Он отстегнул меч и бесшумно опустился на колени.

Наклонившись так, что его губы почти коснулись ее кожи, он легким дуновением сдул рыжеватые песчинки. Рана у нее на коже затянулась; большой палец был гладким, алебастрово-белым и безупречным, как и вся рука в коротком рукаве ее ночной сорочки цвета слоновой кости.

Чердак был таким тесным, что ему пришлось подняться, прежде чем найти место у колеса, вновь опуститься на колени и посмотреть на ее лицо. Дыхание его было неглубоким, прерывистым. Она же, напротив, дышала глубоко и размеренно, как ребенок, уснувший после долгой возни и беготни.

Он протянул руку и кончиками пальцев отвел прядь ее прекрасных волос и заправил ей за ухо. Он был рад, что она все еще спит. Если бы она взглянула на него, он бы не осмелился так долго тешить свой взор. Она казалась скорее изысканным могильным изваянием, нежели живой молодой женщиной. Лицо ее, покоившееся на вытянутой руке, было маленьким и правильным. Веснушчатый нос, скулы с румянцем и приоткрытые губы, розово-красный изгиб которых был таким чувственным, что, даже не успев понять, что делает, он наклонился ниже и прижался губами к ее губам.

Ему показалось, что колючки и кусты, хватавшие и удерживавшие других принцев, все превратились в плоть этой прекрасной девушки и теперь удерживали его. Казалось, она была всюду вокруг него, хотя соприкасались только их губы, и то легко и непорочно. Сердце его ответило жизни, остановленной внутри нее.

Она должна быть уже готова... Ни разу с начала его восхождения ему в голову не пришла мысль, что она не будет его, а он не будет ее. Не размыкая губ, он смотрел на розовато-лиловые полукружья ее век, и снова его охватила дрожь от ее неподвижности: ему не нужно было улыбаться, говорить, не нужно было извиняться и объясняться. Он не хотел никакого другого языка, только этот.

Он отстранился от лица и поцеловал ее безжизненную руку. Здесь был другой привкус — свежескошенной травы, меж тем как на губах ее ощущался вкус роз, омытых росой. Странно было чувствовать собственные бороду и усы, касавшиеся ее кожи, но запах ее теперь оставался с ним дольше, чем если бы он был чисто выбрит. Он лег, так что ноги его коснулись стены под нишей, и теперь мог провести губами по ее голени и по кромке ее сорочки.

Целуя, он касался ее ладонью, глядя стройные ноги, как будто стирая сон, проводя от лодыжек вверх. Рука его двинулась к внешней стороне бедра, талии, ребрам; ткань сорочки была невесомой под его пальцами. Он добрался до округлости ее груди. Сорочка была свободной и поднялась от движения его руки. Он наклонил голову туда, где были его пальцы, и когда его язык начал ласкать ее, она вздохнула.

Он не отпрянул, когда она пошевелилась. Тихие звуки, легкая дрожь в руках и ногах говорили о том, что она все еще спит. Но затем она чуть отодвинулась и перевернулась на спину.

Солнечные лучи, проникавшие через окно в нише, стали горячее. Принц смотрел, как выпрямляются ее ноги. Теперь было пространство, чтобы он мог лечь на солому рядом с ней. Ненадолго отпустив ее, он сорвал парик, который никогда не был ему впору, и бросил на лен. Снял синий, украшенный бисером камзол и тоже бросил рядом.

Рот его вновь нашел ее губы, язык проник между ними, слегка нажимая на ряд зубов. Рука его упорно пробралась к ее плоскому животу. Она еще раз пошевелилась, приподняв во сне голову, пока его язык не встретился с ее языком.

Солома плохо умягчала пол. В двух шагах стояла кровать, но она была слишком далеко. Колючки и кусты ее власти слишком быстро его поймали. Вспомнились слова мажордома — *Ты не сойдешь вниз с той же улыбкой на лице*, — но он тут же снова их забыл, потом что выгнулся над ней.

Глава тринадцатая

По недосмотру хозяин гостиницы предоставил Августе лучше обставленную комнату, чем ее дяде: отдельная гардеробная, кровать пошире, несколько прекрасных турецких ковриков на полу и деревянный балкончик, откуда тем вечером она смотрела на солнце, заходившее за парк Вильгельмскхё.

Сидя на балконе в железном кресле, она дула на лист бумаги, чтобы высушить чернила, и не услышала, как Куммель, вернувшийся со стаканом молока, сдержанно постучал в дверь.

Стучи он по дубу дубинкой, она, пожалуй, тоже услышала бы его не сразу. Не замечала она и силуэтов ольхи на фоне бледного неба, залитого лунным светом. Все, что она видела, — странная усмешка Гримма, сидевшего в запачканном бархатном кресле, с этими глупыми фигурками. Она знала, что он не случайно вел себя так легкомысленно. Он не мог ее одурачить. Это был один из способов упрочить эмоциональную границу между ним и остальным миром, и по всей ее длине он размещал нацарапанные вручную плакаты: *Запрещено! Запрещено! Запрещено!*

Слезы набежали ей на глаза. Очевидно, что он страдал не от обычной дорожной болезни или простуды. Он так тяжело перебрался из кресла к комоду: кожа почти прозрачная, глаза слезятся, губы сжаты. Он выглядел не как человек в конце отпуска, а как нуждающийся в нескольких неделях постельного режима больной. И хотя понимала, что он болен, она все еще надеялась получить от него ответ. *Самое дорогое... Я ухаживаю за ней только ради тебя.* Что это означало? Она пыталась подвести его к этому вопросу, но эти

неумелые попытки оказались столь же нелепыми, как косьба пшеницы пушками. Ее бестолковый эгоизм вызывал отвращение в ней самой. Она наклонила голову навстречу прохладному, пахнущему фрезиями дуновению и заплакала так, что когда Куммель постучал во второй раз, опять не услышала стука. Но когда щелкнула открывающаяся дверь, она вскочила на ноги и тогда столкнулась с ним лицом к лицу.

— Простите, фрейлейн, я дважды стучал...

Он выглядел захваченным врасплох не столько тем, что она оказалась в комнате, подле балконной двери, сколько тем, что она продолжала всхлипывать, сжимая в кулачке скомканный листок. Но он был рассудителен. Безукоризненно рассудителен. И чуть не удалился вместе со стаканом молока на подносе.

Августа была не в силах ни сказать что-нибудь, ни сделать знак. Она стояла прямо, но чувствовала, что плечи ее тряслись, а голова безостановочно качалась, как у одной из фигурок на дядином комод. А внизу, под балконом, хотя было уже поздно, раздавались голоса в темноте: больше всего детские — всюду эти дети: двое маленьких мальчиков отчаянно ссорились.

Она слышала, как Куммель поставил поднос, но сквозь пелену слез не могла точно различить куда. Она ждала, что он заговорит, извинится, возможно, спросит что-нибудь, но ни звука не последовало. Она отвернулась к балкону и детской ссоре, поднимая руку к глазам, так как слезы продолжали литься потоком, слезы не только обиды, но и досады оттого, что ее застали в таком виде.

Она слышала, как мягко щелкнула дверь, закрываясь, и вновь осталась одна. Образцовый слуга был слишком тактичен, чтобы заметить ее горе.

С легким вздохом она упала на покрытый ковром пол, сперва на колени, затем на бок, сминая кринолин.

Но вдруг почувствовала, как он подошел сзади и взял ее за локоть, а другой рукой — за обнаженное плечо.

Он был сильным — сильнее, чем она предполагала. Одним легким движением он повернул ее к себе, но вместо того чтобы поднять, опустился рядом, и корсаж ее платья коснулся его колена, а лицо оказалось прижатым к сюртуку, некогда принадлежавшему отцу. Запах камфары успокаивал ее, но и это не могло остановить ее слезы.

— Я смешна... Глупа!.. И столько жалости к себе...

Он ничего не говорил, но, прижимая ее к себе, вытянул свою руку из ее руки. Она чувствовала его пальцы на низком шиньоне у себя на затылке, они пробирались через волосы, привлекая ее еще ближе.

— Он не *заговорит* со мной... Не позволит мне быть рядом... А мне надо быть рядом... Я хочу *знать*...

Она схватила его за фалды сюртука, чувствуя, что он тянет ее выше. Когда оторвала лицо от сюртука, она ощутила запах табака, маслянистый мускусный запах его кожи на шее. Ее губы, приоткрытые в попытке вздохнуть, скользнули по его щеке, покрытой густой щетиной.

Он все еще молчал. Ни утешения, ни уговоров, ни сочувствия. Как будто ее горе ничего для него не значило, как будто самой важной частью был кринолин, который несколько минут назад трещал и рвался. Здесь, на полу, он держал в руках только ее, а не ее несчастье, и это так изумляло ее, что когда он вновь ее повернул, чтобы их губы встретились, его поцелуй показался ей легкой вольностью.

Лелу, швейцар, вывел Якоба через анфиладу комнат на террасу над красивым уголком парка, теперь называвшегося Наполеонсхё. Внизу располагалось лебединое озеро, чья гладь искрилась в свете весеннего полуденного солнца.

— Ваш библиотекарь, ваше величество, — объявил Лелу, отходя в сторону, чтобы дать Якобу пройти. Рядом с вестфальским королем Жеромом Бонапартом — небритым и закутанным в великолепный восточный халат красного шелка — Симеон, Беньо и два

королевских секретаря сидели за столом, покрытым зеленым сукном, сосредоточенно изучая бумаги и переговариваясь.

— Мсье Гримм, — сказал король (он ни слова не знал по-немецки). — Если вы желаете, у меня есть для вас дополнительная должность. Аудитора при Государственном совете. Конечно, жалованье будет больше. За год ваш доход составит несколько тысяч талеров. Вы возьметесь, *не так ли?*

Да. Губы Якоба приоткрылись, но он не смог сразу заговорить. Его повышение будет оплачено тяжелейшими, чем когда-либо, налогами на его сограждан гессенцев. Но и упрямиться он не мог себе позволить.

— Вы весьма милостивы, ваше величество, — сказал он на более правильном, чем у его повелителя французском.

Тысяча талеров. Как обрадовалась бы мать! Впервые после отъезда из Штайнау была надежда больше не дрожать над каждой копеечкой. И Якоб уже догадался, что его новые обязанности потребуют от него не больше того, что он выполнял в течение нескольких недель в королевской библиотеке после смерти своей бедной матери. С тех пор его главная обязанность состояла в разнашивании придворного мундира с адским шитьем.

— Смею сказать, дополнительный доход будет кстати, — продолжал расточительный младший брат Бонапарта, не торопясь возвращаться к вопросу, как сделать Вестфалии кровопускание посильнее прежнего. — Я слышал, у вашего брата неважное здоровье.

— Да, ваше величество. Но его состояние почти всегда одно и то же. У него слабое сердце, проблемы с дыханием. — Якоб уже подумал, что сможет послать Вильгельма на лечение в Галле. Внезапно все ртутные мази и магнетические амулеты оказались ему по карману, и он с безмерным удовольствием представил себе улыбку брата, когда тот услышит новости. — Его здоровье зависит от меня.

— *Что ж,* разве это не правильно — старший брат присматривает за младшим? — Это говорил человек, за которым старший брат присматривал в масштабах королевства, с десятью миллионами франков в год и очаровательной Екатериной Вюртембергской в качестве супруги. — И вы один собираете свои старинные сказки?

— Когда брат не в состоянии, да, один.

— Вы собираете эти сказки у хозяек местных пивных, насколько я понимаю.

— У тех, кто лучше всего их помнит, ваше величество. Их из века в век рассказывают по всей Германии. Они — важная часть национального наследия.

Глаза короля вспыхнули при этих словах.

— Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я думал, что эти сказки принадлежат всем нам. Разве они не часть общего наследия? *«Белоснежка»*, *«Спящая красавица»*... Я припоминаю, что наш мсье Перро также включил эти сказки в свое собрание.

— При всем уважении, ваше величество, все рассказывают их по-своему, опуская одни детали и больше внимания уделяя другим.

— Да?

— Например, *Dornröschen* — наша кассельская версия «Спящей красавицы» — заканчивается не как у мсье Перро, где принцесса просыпается и выходит замуж за принца. Ибо в таком случае злое начало, которое, можно сказать, и стало источником всех несчастий, остается безнаказанным.

— И это делает вашу историю лучше?

— Не лучше и не хуже, ваше величество. Просто она наша. Все эти сказки наши. В них есть чистый дух германского леса.

Лицо короля исказила усмешка. Якоб не забывал, что он подданный, но был рад, что высказался. Меньше всего он готов был выказать гордость за свою родину, которая была в тысячу раз несчастливее его самого, которая была призвана шагать на восток вместе с Великой армией корсиканца, меж тем как все ценные рукописи и картины отправлялись на запад.

— Вы романтик, мсье Гримм, — кивнул король. — Меня восхищает ваша пылкость. —

Поскольку королевской пылкости хватало на сотни экипажей и едва ли меньшее число любовниц, Якоб вновь увидел в этих словах мягкую насмешку. — Но вы упомянули злое начало. Это интересно. Вы имеете в виду зло, которое заставило принцессу так долго спать? — Гримм кивнул. — А что происходит в *вашей* истории, когда злое начало остается на свободе?

— Наша история этим заканчивается, мсье. Пробуждением. Больше мы ничего не знаем.

— Но куда девается зло? Что с ним случилось? Может быть, оно крадется дальше, в ваши благословенные германские леса?

Якоб нахмурился и был рад, когда Жерома отвлек вопрос одного из секретарей. Яблоко от яблони, думал Якоб, пока ждал новоявленного короля; он был приятным собеседником, но о зле говорил так же небрежно, как его брат — о процветании, свободе и равенстве. И хотя некоторые из его нововведений, вроде освобождения евреев, давно следовало бы осуществить, они проводились в атмосфере такого страха и репрессий, что ни один немец теперь не мог уронить обертку от конфеты на улицах Касселя без того, чтобы французский полицейский не развернул ее в поисках антиправительственного сообщения. По всем статьям немецкий народ жил теперь в условиях диктатуры.

— Вы можете приступить к обязанностям аудитора со следующей недели, — сказал Жером Бонапарт, обратив свой взор на стол, покрытый зеленым сукном, и отпуская библиотекаря.

Якоб пошел прочь через замок в библиотечный зал, шаги его громче, чем обычно, отдавались эхом, пока эхо наконец не превратилось в отдельный нечеткий звук, рождавший в нем противное ощущение. Пока шел, он всё проводил языком по зубам, избавляясь от маслянистого привкуса языка оккупации.

После первого изучающего поцелуя Августа была слишком ошеломлена, чтобы оттолкнуть Куммеля. Она даже не была уверена, что хочет его оттолкнуть, хотя ей, конечно, следовало поступить именно так.

Не зная точно, сколько длился поцелуй, она перестала плакать и теперь пыталась набрать воздуха, прижавшись к его плечу. Его правая рука была на ее шее, пальцы вытащили пару маленьких гребней у нее из волос, в то время как левая располагала возможностью изучающе перемещаться по ее плечу, талии, груди.

Он продолжал ласкать ее, а она ощущала прохладу его пальцев через ткань своего платья с высоким горлом: прохладу, сухость, даже ощущала очертания линий на кончиках его пальцев.

— Дурочка, — выдохнула она наконец. — Какая же я *дурочка*...

Но прежде чем она снова начала всхлипывать, он рванул ее выше и снова их губы, уже полуоткрытые, встретились, и поцелуй оказался еще более долгим и глубоким.

Его рука была на ее бедре, путаясь в складках платья и пытаясь пробраться под него. В первое мгновение она приветствовала это движение, так глубоко проникнув языком ему в рот, что зубы их с резким звуком соприкоснулись. В следующее мгновение она позволила ему снять себя с коленей и уложить на турецкий ковер. Но потом, прервав поцелуй, вскрикнула, чтобы заново определить границу между ними.

Она чувствовала силу его хватки, но эта хватка в момент ослабела. Как спортсменка, она перекатилась на колени и вскочила, встав лицом к балкону, голосам бранящихся детей, насыщенному запаху фрезий. Закрыв глаза, стиснула зубы и стояла неподвижно, словно для того, чтобы ощущение от его прикосновений могло улетучиться, как ее собственные комплексы несколькими минутами ранее.

Она слышала, как он поднялся на ноги, и ждала, что он подойдет. Но он тоже не двигался. Наконец он заговорил голосом, тон которого выдавал в нем совершенно другого человека, не такого, каким она его знала.

— Скажи мне, — сказал он, — о чем ты так хочешь спросить его?

Она улыбнулась, глаза ее по-прежнему были закрыты. *Его*. Невероятно, но Гримма не было в ее мыслях в течение нескольких минут. Человек, который не разговаривал. Человек, который наверняка *никогда* не плакал. Она медленно покачала головой, не в силах заговорить. Не хотела она и слушать ровный размеренный голос Куммеля. Если бы он подошел и взял ее за плечи, она бы упала в его объятия. Обними он ее за талию — и она бы к нему повернулась.

— Я мог бы помочь вам. Если вы расскажете мне, могу ли я помочь?

Граница между ними снова была столь явной, что она могла кричать через нее, не поворачиваясь, даже не пытаясь обращаться с ним на равных.

— Я сказала не подумав. Забудьте, прошу вас.

Она пригладила юбки ладонью одной руки и сжатым кулачком другой. И с болью осознала, что он ждал, когда она заговорит. Отпустить его? Она вытянула вперед левую руку, подавая смятый бумажный листок.

— Возьмите это, — приказала она, задаваясь вопросом, как выглядели его глаза, когда, повинувшись, он коснулся кончиками пальцев ее руки. — Это адрес. Завтра после церкви вам нужно будет проводить профессора в этот дом в старом городе. Он еще ничего об этом не знает, но дом легко найти. Много лет назад профессор жил там. Скажите ему, что я просила вас его сопровождать. Я буду ждать там. — Она слышала, как он развернул и вновь сложил листок. — Спасибо, Куммель.

— А до того? Вы хотите, чтобы я опять следовал за ним как тень?

— Следовал как тень, — неправильно, неискренне, но как раз то, о чем она забыла попросить. — Я была бы очень благодарна. После того что случилось в поезде, это необходимо.

Пауза.

— Желаю вам спокойной ночи, — пауза чуть короче, — фрейлейн.

— Спокойной ночи, Куммель. И спасибо.

Как только дверь закрылась, она бросилась на балкон, как снаряд из катапульты, и с разбега прижалась к белой балюстраде, доходившей ей до пояса. Тяжело дыша, смотрела вниз, прямо на маленький, весь изрезанный колеями, засыпанный пеплом и землей дворик, окруженный угольным сараем и другими пристройками. На земле валялись крашенные деревянные игрушки — клоун, гусар, маленький паровоз на боку, — но поссорившихся детей видно не было. Лишь слышался безутешный плач девочки.

Августа отступила назад и упала в холодное железное кресло. Краем глаза заметила прошепестившую летучую мышь. Где-то в парке, в сладковатом дымном воздухе, раздавалось пронзительное пение птицы. Хотя губы ее пересохли, она не могла провести по ним языком. Откинула голову и тут, словно по ее велению, на лицо упали первые за день мелкие капли дождя.

Спустя полчаса, промокшая, она встала и вновь зашла в комнату, вновь слыша лишь собственные мысли, а не пульсацию крови в висках.

Глава четырнадцатая

Когда все закончилось, он вытянулся рядом с ней на каменном полу и смотрел на сияющее от солнца окно в нише.

Солнечный свет, казалось, насмехался над всеми его предыдущими ожиданиями. Он был уверен, что принцесса очнется от беспамятства, что его настойчивость найдет отклик, и она ответит вздохом на вздох и прикосновением на прикосновение. Но этого не случилось. Сейчас она лежала подле него такая же безразличная, как когда он впервые ее увидел, цвет ее лица не изменился, прелестные губы ни намек не подавали на то, что язык его недавно играл у нее во рту. Устыдившись, он поправил на ней ночную сорочку.

Когда ты придешь во дворец, будет ясно, что делать. Мысленно он возвращался, спускаясь по винтовой башенной лестнице, затем через комнаты, которые, казалось,

пробудились с его приходом. В своем воображаемом путешествии он остановился в дверях парадной залы. Там, на комод, лежали двенадцать золотых шкатулок. По крайней мере так он думал. Возможно, на это он и должен был посягнуть.

Он сел и подтянул колени к груди. Затем, перевернувшись, бросился на кучу льна, спрятав лицо. Когда поднялся, то увидел, что во льне остался отпечаток его лица, даже формы бороды.

Пол был потрескавшийся и неровный; он не мог оставить ее лежать здесь. Он вновь опустился, одной рукой взял ее под колени, другой — под плечи, поднял и положил на кровать. Она была такой легкой, что он с болью вспомнил, как позволил ей ощутить весь его вес. Кости ее под безупречной кожей, которая выглядела не более чем дорожками солнечного света на полу, казались совсем плоскими.

Он почтительно уложил ее на покрывало, и, взбив подушки, оставил в том же положении, в каком застал, — на боку, с чуть согнутыми коленями, одна рука вдоль туловища — лицом к каменной стене. Он поглядел, и в нем вновь проснулось желание. Боясь снова почувствовать себя в сетях, он оторвался от созерцания, даже не поцеловав ее напоследок.

Он спускался по лестнице, когда вспомнил, что забыл парик, камзол и меч. Ему и в голову не пришло вернуться и забрать их. Если без них он утратит вид принца, так тому и быть.

Прежде чем покинуть дворец, он остановился на минутку, чтобы взять одну из золотых шкатулок. Как и принцесса, шкатулка была легче и изящней, чем он ожидал. Защелкнув крышку, он выскользнул во двор и пошел мимо виноградных и липовых аллей к ступенькам на скале.

Он уже чувствовал, что время, когда он уходит, идет быстрее, чем шло по его прибытии. словно до этого он нашел путь в лесном лабиринте с помощью спряженной нити, привязанной к лодыжке. А сейчас — на расстоянии множества миль от его тесного домика — нить туго натянулась, чтобы привести его обратно, через время и высокую, поросшую лесом скалу.

У подножия лестницы он оглянулся в поисках мажордома, но тщетно. Зато его ждал оседланный и взнузданный белый конь с двумя сумками, перекинутыми через хребет. В одной был хлеб и фляжки, другая была пуста, но когда принц засунул в нее шкатулку, она подошла для этого идеально. Как только он сел на коня, тот резво понесся в нужном направлении.

За первый час он промчался мимо озера и домика трех прядильщиц. Бег коня не замедлился и далее.

Выбирая добрые лесные дороги, конь проскакал половину пути до дома за двенадцать часов. Он ел, пил и спал в седле. Каждый раз, когда просыпался, копыта коня все еще гремели барабанной дробью, пока он не обнаружил, что солнце встает, а он уже близко от маленького обнесенного стенами городка.

Последние несколько лье они проделали медленнее. Когда шел к замку, он так торопился, что не успевал заметить время года. Сейчас на опушках он увидел глубокие золотисто-каштановые и оранжевые цвета осени, и сквозь шелковую рубаху ощущал холодный ветер, совсем не похожий на тот ветерок, что рождался от резвого движения его коня.

В сторожке, подле которой спешил всадник, горел свет. Перегнувшись через подоконник, сторож высунулся в высокое зарешеченное окно и по — требовал разрешение на въезд, а затем умолк, узнав его. Второй стражник открыл засов и распахнул ворота, чтобы впустить всадника и коня. Затем третий — с таким же почтением, возможно, из-за изменившейся внешности принца — подошел, чтобы отвести его лошадь в конюшню. Но сперва принц развязал седельную сумку и вытащил золотую шкатулку, которая засверкала в свете комнатных фонарей.

— Твой отец, — сказал стражник, высунувшийся из окна, — умер, пока тебя не было.

— А у матери умер один ребенок, — добавил второй.

— Оба бесследно исчезли ночью.

Он не отвечал, но направился сразу домой. Снаружи дом выглядел все так же. Передняя дверь отошла и болталась без отвалившейся верхней петли. Сперва он вошел в спальню, где мирно спали дети.

Слабый свет свечи пробивался из-под двери в комнату матери. Прежде чем постучать, он постоял в нерешительности, не слыша ни звука.

— Почему ты вернулся? — вдруг раздался ее голос, в котором не было ни радости, ни раздражения.

Он толкнул дверь носком ботинка из телячьей кожи. Дверь качнулась со скрипом, и он увидел ее сидящей у пустой колыбели. Он протянул ей золотую шкатулку, и глаза матери вспыхнули при свете лучины. Одно мгновение ее лицо выглядело опухшим, бесформенным. Тело, покоившееся в кресле, тоже казалось тяжелее, чем он помнил, но затем она улыбнулась, села прямо, и ее прежняя, но отяжелевшая красота вновь засияла.

— Я принес ее тебе, мама, — сказал он, подходя и кладя шкатулку на кровать. — Она твоя по праву. Это много значит. Продав хотя бы один из этих драгоценных камней, ты никогда уже не будешь нуждаться.

Она продолжала улыбаться, несомненно, вспоминая тот день, когда последний раз видела ее, но руки ее оставались лежать на коленях.

— Мне рассказали об отце и о ребенке, — сказал он. — Мне жаль.

Она и виду не подавала, что услышала. Глаза ее неотрывно смотрели на шкатулку, но улыбка вдруг начала угасать.

— Что ты отдал за нее? — спросила она.

— О чем ты?

Она перевела на него спокойный взгляд. Ему, конечно же, не показалось. Дело было не в том, что он сравнил ее с хрупкой спящей принцессой; его мать действительно стала полнее, с более округлой фигурой.

— Ты унес эту шкатулку, но что ты оставил взамен?

Вопрос удивил его, но ответ пришел на ум сразу, единственный ответ, который он мог дать и которого, по его мнению, ожидала мать:

— Я отдал принцессе мою любовь.

Она кивнула:

— Как принц?

— Как принц.

— И она позволила тебе принести мне шкатулку? Как знак?

Он посмотрел назад. Утварь комнаты с пряильным колесом и ворохом льна была почти такой же, как на чердаке у принцессы, только здесь кровать была шире. Он не знал, что сказать. Знак чего? Он не мог солгать ей. Безмолвный, он перехватил взгляд матери, которая с восхищением смотрела на его одежду.

— Разве я не говорила тебе, что ты принц?

— Говорила.

— Я горжусь тобой! Очень горжусь! Я верю, что и ты будешь так же гордиться собственными детьми.

В следующую долгую паузу она изучала его в упор. Затем взяла шкатулку, положила на колени, открыла и залюбовалась. Лицо ее сияло ничуть не меньше, чем нож, вилка и ложка.

— Что же, ты вернешься во дворец немедленно? — спросила она, не поднимая глаз. — Или переночуешь *тут*?

Вопросы звучали странно, но то, как она задержалась на слове «тут», отчетливо напомнило ему о ее приглашении разделить с ней комнату, и он ответил ей так же, как прошлый раз:

— Сейчас. Я поеду сейчас. Здесь для меня нет места.

Она ничего не сказала. Побрякушка у нее на коленях, казалось, заворожила ее. Правда, ему показалось, что мать даже больше взволнована тем, что он любил принцессу. Возможно, сейчас она, как обычно, подталкивала его вперед, побуждая достичь всего, на что он способен.

— Я жду, — сказала она, — дня твоей свадьбы. Когда этот день настанет, не нужно за мной возвращаться. Просто пришли карету. Этого будет достаточно.

— Я так и сделаю, — произнес он взволнованно.

— Безопасного путешествия, — пожелала она, улыбаясь шкатулке. И как только он вышел из дома, то увидел, что третий стражник держит его неугоминого коня наготове у распахнутых ворот. За ними плескалось и колыхалось в лунном свете уже знакомое лесное море, готовое принять его в себя.

Глава пятнадцатая

Куммель задержался среди гуляющих по берегу озера, чтобы позволить Гримму неторопливой походкой подняться к барочному изукрашенному саду. Вместо того чтобы провести утро в церкви, старик часа два гулял среди павильонов Вильгельмсхёз, искусственных руин и фонтанов, не выказывая никаких признаков усталости.

Куммель сплюнул жевательный табак и смотрел, как старик поднимается к огромной статуе Геркулеса. Теплое солнце светило в спины посетителям парка, но воздух в этом углу был прохладнее из-за каскада, с ревом спадавшего по тысяче ступенек из шлюза под статуей.

Когда Гримм скрылся из виду, Куммель возобновил преследование. Он прятался за прохожими, прогуливавшимися взад-вперед. Как и фрейлейн и все ее соотечественники, в этот век механизации они представлялись ему механизмами, заведенными и поставленными на пути к какому-то будущему, еще более обезличенному; море мрачных почтенных лиц, в большинстве своем неотличимых от тех, среди которых он вырос. Но даже сейчас один или двое, проходя мимо, прищурились — совсем как воинственный коммерсант в Штайнау. Они думали, что знают его, по крайней мере внешне. И были правы. Они всегда оказывались правы.

Поднимаясь по усыпанной гравием дорожке, он поигрывал с клочком бумаги, который забрал у фрейлейн. Она не спустилась к завтраку, а когда он спросил профессора, принести ли ей завтрак в комнату, тот отрезал:

— В этом нет необходимости!

Все еще недоумевая, что между ними произошло, он подошел к массивному постаменту статуи. Поворачивая за угол, он чуть не столкнулся с профессором.

Тот был бледен и стоял в стойке профессионального боксера: чуть боком, колени согнуты, голова наклонена. Но левая рука его, как обычно, была за спиной, и он не выглядел вызывающе.

— Ну так, — пропыхтел он, и чувствовалось, что горло и нос у него так забиты, что казалось, будто к лицу его прижата подушка, — должно быть, пора принимать лекарство?

— Герр профессор... — Куммель пожал плечами.

— Я не смог избавиться от тебя в Марбурге и здесь, похоже, не преуспел.

— Герр профессор, я готов объяснить...

— Не стоит. Ты не из личных побуждений следуешь за мной. Это моя дорогая Гюстхен, да? Вы сговорились прошлым вечером?

Несмотря на огонек, зажегшийся в его глазах, он выбирал слова с обычной тщательностью.

— Фрейлейн очень переживает за ваше здоровье. Она просила меня убедиться, что у вас не возникнет затруднений...

— Она до смерти напугана тем, что я могу умереть, Куммель. Из-за этого у нее рождаются всякие фантазии.

Вновь изучающий взгляд. Затем он повернулся и продолжил свой путь, жестом

пригласив Куммеля идти рядом. Молодой человек пошел рядом, замедлив шаг, так как Гримм любовался панорамой внизу.

— Мне нравится выискивать возвышенности, — сказал он, кивнув, — видеть границы между вещами.

Он закашлялся, а когда перестал, Куммель рискнул. Не так уж сильно, учитывая, что профессор, казалось, был как никогда расположен к нему этим утром.

— Не кажется ли вам естественным, что фрейлейн заботится о вас? — Старик не ответил. — И она ждет от вас наставления...

— Наставления?

Куммель сглотнул. Он зашел слишком далеко; уже не было смысла возвращаться.

— Есть вопросы, на которые, по ее мнению, только вы можете дать ей ответ.

— Она сама тебе сказала?

В голосе его звучало такое удивление, что Куммель потряс головой.

— Простите меня, герр профессор, если я лезу не в свое дело. Это всего лишь то, что я вижу. Что замечаю.

Они пропустили молодую женщину с большим зонтом, за которой следовали два маленьких мальчика, одетых в теплые шерстяные воскресные костюмчики.

Гримм вновь бросил взгляд вниз, на фонтан за замком, глубоко вздохнул и двинулся дальше. Куммель был рад, что ему удалось замолвить словечко за фрейлейн, но настроение старика трудно угадать.

— Что ж, — наконец сказал он, снова закашлявшись, — похоже, ты порядочно о нас знаешь. Почему тебе не рассказать о себе?

— О себе?

— Твое происхождение. Твоя биография. Важные события в твоей жизни. У каждого есть своя история.

— Боюсь, в моем случае рассказывать особо не о чем.

— У тебя есть семья?

Хотя профессор выказывал интерес, у Куммеля было ощущение, что его слушают лишь как источник звука, а не ради слов.

— Семья? Ну да, есть. На востоке Берлина, неподалеку от собора Святого Хедвига.

— Тоже в прислугах?

— Нет. Мой отец производит детали к локомотивам. Для заводов Борсига.

Они пропустили группу гуляющих, которые с благоговейным ужасом смотрели на кулак Геркулеса. Они вдесятером легко могли поместиться на нем. Гримм взглянул вверх, и они со слугой обменялись усмешками.

— Твоя родня — коренные берлинцы?

— С обеих сторон.

Профессор ускорил шаг и начал оживленно покачивать головой, будто его преследовало облачко мошкары с озера.

— Боюсь, мой друг, — произнес он, прочистив горло, — что я тебе не верю.

Куммель увидел языки пламени. В самой глубине он ощущал жар, хотя по коже пробежал озноб, а необычный шум поезда, который он слышал в Марбурге, эхом отдавался в голове — это неритмичное постукивание, которое сейчас его нервировало, зловещее, как стучащие на ветру кости линчеванного человека.

— Герр профессор?

— Может, я ошибаюсь, но полагаю, что нет. Видишь ли, я мало знаю о жизни за стенами моего кабинета, но у меня слух на акценты и диалекты. И хотя, в общем-то, у тебя акцент восточного берлинца, с этим мягким «g», я отмечаю в твоей речи и другие звуки, которые позволяют мне предположить, что ты не жил ни в Берлине, ни в Бранденбурге, ни в Пруссии. Коли на то пошло, я бы поместил тебя еще дальше на запад.

Куммель ничего не ответил. Он, не отрывая глаз, смотрел на сияющие крыши замка Вильгельмсхёэ.

— Это из-за гласных, — продолжал профессор, словно ботаник, отмечающий представляющее интерес растение. — Они меняются, когда ты говоришь эмоционально. Я особенно четко это услышал, когда ты упомянул мою племянницу. — Он как-то принужденно кашлянул. — Причины, по которым ты придумываешь другого себя, конечно, меня не касаются, да и наслаждаться твоими услугами, прежде чем ты вернешься к семье Дресслер, нам предстоит недолго. Но разумеется, у меня есть свои предположения.

Куммель уже отстал на полшага. словно все слова, которые могли быть произнесены, сгорели в полыхавшей в нем печи.

— В свое время, мой друг, — сказал Гримм, — или же вообще никогда, если это больше тебе подходит... Теперь к насущным проблемам. Моя племянница сегодня утром, должно быть, организует какое-то мероприятие для меня. Оно пройдет в гостинице или нам надо будет встретиться с ней где-то еще? Я полагаю, она тебя известила?

Куммель молча разжал кулак и протянул хозяину листок. Гримм взглянул на адрес и на мгновение помертвел.

— Фрейлейн просила меня отвести вас туда, — пробормотал Куммель.

— Да. Я понимаю. — Он положил листок в карман и неверной походкой двинулся дальше. — Думаю, нам стоит взять экипаж, как только мы спустимся пониже. Может, пройдешь вперед и перехватишь его? — Куммель поклонился и скользнул вниз по склону. — Пожалуйста, помни, — вслед ему произнес профессор так, что Куммель обернулся и встретился взглядом с его измученными глазами, — я не держу на тебя зла, как, надеюсь, и ты не держишь зла на нас.

Якоб налил кофе в чашку дрезденского фарфора и пошел с ней в кабинет. По пути он улыбнулся Вилли, который, приняв от торговца овощами корзину с морковкой, нес ее на кухню. Обычно братья покупали немного картошки или горошка всякий раз, как фрау Виманн наносила им визит. Вместе с кофе, который они ей подавали, хотя это и ударяло по их бюджету, это было наименьшим, что они могли для нее сделать.

Она уже села в любимое кресло с жестким сиденьем и прямой спинкой, которое стояло в углу, где сходились книжные полки, как раз под портретом пухлой строгой матери Якоба во времена ее молодости. Когда Якоб сел за стол, она сделала глоток. Ей всегда нужно было несколько минут, чтобы восстановить силы, когда она приходила в гости в квартиру на верхнем этаже в доме на Марктгассе. В пятьдесят семь лет поздно вато торговать овощами вразнос на оживленных улицах Касселя, но на небольшой ферме в Цверне у нее дочь и шестеро внуков, которых надо содержать. И даже Якоб в свои двадцать семь прекрасно знал, какая шлея может попасть под хвост человеку.

Вилли отсутствовал недолго. Якоб слышал, как он болтал с Людвигом и Фердинандом о проблеме с кухонной печкой, объясняя, что сейчас нет денег ее чинить. Несмотря на щедрость короля Жерома в отношении Якоба, стоимость жизни в королевстве была все еще непомерно высока, и существовал предел, до какого могло доходить жалованье, выплачиваемое одному человеку.

Тем временем в гостиной, он слышал, Лотта болтала с хорошенькой молодой подругой Дортхен Вильд. Будь он свободен, Якоб наверняка нашел бы повод пройти мимо двери в гостиную в надежде, что Лотта попросит его посидеть с ними полчаса. Его симпатия к Дортхен, дочери аптекаря, неуклонно росла. Они ничего не говорили друг другу, кроме обычных формальных фраз, но, казалось, даже эти фразы она произносила с необычайным светом в глазах, что наводило его на мысль, что он ей нравится. У Якоба не было уверенности и чутья Вилли в общении с женщинами, но он восхищался непосредственностью Дортхен, ее нежеланием быть модно утонченной, и переживал, что упускает случай видеть ее.

Фрау Виманн рассеянно пила кофе. Ее слишком нарядная одежда выглядела в этот августовский день пыльной, а под туго завязанным чепцом зачесанные назад седые волосы были мокрыми от пота. Якоб видел в ней много от своей матери: та же беспокойная

неподвижность, та же манера изучать его исподтишка. Он бросал взгляд на портрет наверху, откуда все та же пара глаз смотрела и всегда находила его, и ему казалось, будто те же зубы вот-вот обнажатся в улыбке.

— У вас еще недостает сказок для книги? — спросила она наконец, поставив чашку.

Якоб улыбнулся.

— На *одну* книгу хватает, фрау Виманн, и вскоре она будет опубликована — Бог даст, к Рождеству. А истории, которые *вы*, будучи так добры, рассказали нам, станут частью второго тома.

Улыбка ее была милой, но не без высокомерия. Как и его матери, ей трудно было поставить знак равенства между сказками и честными деньгами. Но Якоб знал, что ей нравилось внимание, которым ее одаривали они с Вильгельмом, и — что бы она ни говорила домохозяйкам Цверна о холостяках с гладкими руками, которые торопятся записывать каждый ее вздох и каждую отрывку, — она старалась не пропускать с ними встреч.

— Но мои истории для самых маленьких, — сказала она. — Как же они будут читать их?

— Ну, тогда мама или отец будут читать их вслух, понимаете?

Скептически улыбаясь, она покачала головой. Якоб достал свой блокнот и положил на стол. Он глянул на дверь, ожидая, когда придет Вилли. Без более мягкого брата, чье присутствие, казалось, сглаживало углы комнаты и позволяло каждому, кто в ней находился, ощутить себя в своей тарелке, встреча проходила совсем иначе. Якоб хорошо понимал, что сам он никогда бы не вытянул из рассказчиков все эти сокровища. Настоящие истории должны разворачиваться неспешно, без эмоций, подобно тому, как следует наказывать детей. И раз за разом сердечный Вилли проявлял особый талант, добиваясь того, что им было нужно.

— Итак, фрау Виманн, — провозгласил наконец появившийся Вилли, закрывая за собой дверь и садясь за стол, — что у вас для нас сегодня? Как всегда, мы едва сдерживаем наше нетерпение. «Сказку, сказку, сказку», а?

— Я начну с одной, покороче. — Она улыбнулась, глядя на лепнину под потолком. Якоб уловил важную плавность в ее речи. Словно Вилли, войдя, развязал ей язык.

— Великолепно! — Вилли сел прямее, одернув свой желтый жилет: высокий, с густой гривой волос, изящными чертами лица; из-за слабого здоровья он выглядел лет на десять старше, хотя все же не настолько взрослым, как его брат, сидевший напротив с пером наготове для записи всех возможных подробностей во время первого, обычно беглого рассказа.

— Мне она известна под названием «*Капризный ребенок*», — сказала она с более явным нидерцверенским⁴ акцентом. — Жил да был капризный ребенок, который никогда не делал того, что ему говорила мама. — Она усмехнулась, глаза ее загорелись, словно только сейчас она вспомнила конец истории и с трудом могла дождаться, когда же до него дойдет. — Бог был им недоволен и сделал так, что ребенок заболел. Ни один врач не мог ему помочь, и очень скоро он лежал уже при смерти. — Здесь она сделала паузу, а когда Якоб поднял глаза от записей, на какое-то время задержала на нем взгляд. — После того как его опустили в могилу и засыпали землей, рука его внезапно вылезла из могилы и встала вертикально. Ее затолкали обратно и засыпали свежей землей, но это не помогло. Она продолжала выбираться. — Она снова остановилась, а когда Якоб поднял глаза, взглянула на него с выражением печального триумфа. — Матери ребенка пришлось пойти к могиле и стегнуть руку кнутом. Когда она это сделала, ребенок втянул руку и наконец упокоился под землей.

Воцарилась мертвая тишина.

⁴ *Нидерцверен* — деревня (ныне часть г. Кассель), где жила в зрелые годы Доротея Виманн (1755–1815), один из главных информаторов братьев Гримм.

— Хорошо! — объявил Вилли, легонько хлопая в ладоши, но глядя на брата в ожидании более сдержанного ответа. Якоб, дописывая последнее предложение, не поднимал глаз, потому что знал, что старушка снова смотрит на него, и он еще не решил, каким взглядом ей ответить.

Все истории фрау Виманн волновали его либо ритмом, либо выбором слов, либо тем, как она вызывала в воображении иную эпоху или иное время его собственной жизни, казавшееся древнее всего, что он мог вспомнить. И эта сказка тронула его. Он как будто знал того мальчика, знал его мать и — что самое странное — знал, что похороненный ребенок не был мертв, а просто плавно перешел в какое-то другое место; возможно, в другой мир, для которого его вредный характер больше подходил.

— Отлично, — сказал он, вновь водя пером. Входная дверь хлопнула: хорошенькая Дортхен ушла. — Да, эту второй раз рассказывать не нужно. *И он наконец упокоился под землей.* — Рука его дрожала, губа тоже, когда он наклонился, чтобы подуть и высушить чернила.

— Ты поместишь это в свою книгу? — спросила фрау Виманн. Это прозвучало как насмешка. Якоб лишь взглянул на Вилли, который улыбнулся, не вступая в разговор. В отличие от Якоба, он, несомненно, хотел «одеть» сказку: дать имя ребенку, описать кладбище, добавлять детали, пока белые косточки остова не скроются из виду. Братья уже расходились во взглядах на эти вещи.

— О, мы возьмем ее! — сказал Якоб. — И — я искренне надеюсь — именно в том виде, в котором вы ее поведали.

Вильгельм почувствовал, как много это значит для Якоба, и приятной улыбкой выразил свое согласие. Затем он закашлялся — мягкий дребезжащий кашель быстро достиг крещендо; это заставило Вильгельма извиниться и отвернуться. Тем временем в открытое окно с улицы донесся шум голосов. Якоб поднялся и подошел посмотреть.

Кучер остановил лошадей в середине узкой извилистой улицы, которая все больше сужалась, так что черепичные крыши четырех- и пятиэтажных домов, казалось, смыкались на самом верху. Два мальчика, которые, должно быть, подбежали слишком близко к экипажу, с воплями улепетывали, а возница тряс кулаком, изрыгая проклятия.

Дверь экипажа открылась, и на булыжную мостовую ступил светловолосый слуга. Повернувшись, он предложил руку невысокому седому хозяину.

— Моя племянница сказала, что мы должны постучать? — спросил профессор, стоя спиной к магазину, занимавшему первый этаж деревянно-кирпичного дома.

— Она сказала, что встретит нас, — ответил Куммель, — больше ничего.

Профессор театрально посмотрел направо и налево узкой главной улицы, по которой в базарный день, вероятно, было не пройти и которая даже сегодня была отнюдь не пустой. По просьбе Гримма экипаж ждал там, где ему пришлось внезапно остановиться, чтобы не сбить мальчиков. Предполагал ли он, что встреча с фрейлейн была наигранной? Выражение его лица мало о чем говорило. Но согбенные плечи и непривычная складка у рта могли означать, что за эту прогулку ему пришлось заплатить суровую дань.

— Вы не хотели бы остаться в экипаже? — спросил Куммель. — Фрейлейн, должно быть, задержалась. Я уверен, она не будет отсутствовать слишком долго.

Профессор еще больше съезжился. Тянувшийся по улице неприятный запах вареной капусты не улучшал его самочувствия.

— Да, так будет лучше. Подожди здесь, хорошо? — Казалось, он на миг утратил почву под ногами, и Куммеля охватил приступ искреннего беспокойства.

Гримм потихоньку пошел к экипажу, перекинулся парой слов с возницей, слезшим со своего места, чтобы немного размять ноги, и забрался в карету. Теперь была очередь Куммеля смотреть на улицу, выискивая глазами фрейлейн. Среди прохожих были в основном мужчины, батальоны одетых в темные сюртуки прихожан, чьи чересчур набожные лица и размеренная походка делали их похожими на детей, одевшихся во взрослую одежду,

чтобы подражать родителям. Куммель не мог отчетливо рассмотреть через улицу окно экипажа, но он сомневался, что профессор за ним наблюдает. Обрадовавшись передышке, он, вероятно, задремал.

Куммель знал, что это еще один отличный случай ускользнуть. Спускаясь по склону в Вильгельмсхёэ, чтобы вызвать экипаж, он планировал идти до тех пор, пока Кассель не останется позади вместе с Гриммом и его холодноватым любопытством. Но он остался и теперь стоял на посту перед этим высоким домом. Почему? Едва ли он боялся лишиться недельного жалования. Деньги значили для него гораздо меньше, чем страх разоблачения, которое неминуемо случится, когда предупрежденные Гриммом Дресслеры решат с ним разобраться, сколько бы он ни оттягивал этот момент, не подпуская к ним профессора. И все же он не уходил.

Дверь качнулась, будто сняли засов. Куммель повернулся и обнаружил болезненную горничную лет пятидесяти. За плечом у нее стояла, чуть покачиваясь, фрейлейн. Поймав его взгляд, она вспыхнула, но не улыбнулась, продемонстрировав Куммелю, что все границы Европы более преодолимы, чем та, которую она установила между ними.

Она вышла из-за горничной и ступила на улицу.

— Вы давно ждете? Прошу прощения. Я была занята, устраивая прием. — Она смотрела мимо него на экипаж, где, как она догадалась, сидел ее дядя.

— Мне пойти и сказать, что господин сейчас прибудет? — спросила горничная.

— Да, пожалуйста, — кивнула фрейлейн.

Пожилая женщина стала энергично подниматься по освещенным ступенькам обратно, а фрейлейн бросила взгляд в сторону Куммеля. Затем с видимым усилием заставила себя смотреть на него более открыто. Цвет ее щек еще оставался ярким, но она попыталась улыбнуться, этим лишь заставив Куммеля думать, что с помощью этой улыбки она помещает меж ними океан и всю Европу. Это был конец. Он был волен идти, свободно идти, оставив позади вымышленную семью в Берлине. Другой город, другое положение. «Уравновешенному, деятельному и холостому» мужчине, как писали в объявлениях о найме, вполне можно найти работу. Или, положим, вернуться в лес, ненадолго. *Waldeinsamkeit*, лесная глушь, что уж там.

— Спасибо за помощь, — сказала она мягко, словно знала, что видит его в последний раз. — Спасибо. — *Мы можем быть полезны друг другу*, сказала она, когда поезд, пытаясь, въезжал в город, *каждый по-своему*.

— Профессор в экипаже, — объяснил он. — Боюсь, он порядком устал за сегодняшнее утро в парке...

Он замолчал, но если бы и собирался сказать больше, его остановил бы громкий крик, донесшийся через улицу. Он повернулся и увидел жестикулировавшего возницу, одной рукой придерживавшего дверцу экипажа.

— Сюда, парень! — кричал он Куммелю. — Сюда! Ваш хозяин упал!

Глава шестнадцатая

Конь, как и всадник, понимал, что им предстоит долгое путешествие. Принц рад был двигаться медленней. Он знал, что мать была права, отсылая его обратно, но волновался и о том, что оставлял, и о том, к чему возвращался. Ее рассеянный взгляд преследовал его. Она казалась надутой воздухом, как свиной пузырь, и разные части ее тела опухали по-разному. Не будь она его матерью, он бы счел ее гротескной. И не был уверен, она ли так изменилась или только его взгляд на нее.

Когда бы она ни приходила ему в голову, пока конь нес его по невиданным тропинкам, он пытался думать лишь о принцессе. Но и это не вело ни к чему хорошему. Стыд из-за того, что он так обошелся с дочерью короля, смущал его столь сильно, что временами он представлял и ее раздувшейся до неузнаваемости на чердачном ложе.

Проходили дни. Все, что он знал, — это то, что конь нес его вперед. Лес был таким

густым, что принцу редко удавалось увидеть солнце, чтобы определить направление. Но каким бы медленным ни казалось путешествие, он чувствовал, что время летит. Он ощущал, что плывет на конской спине, несомый потоками, над которыми он не властен. И хотя принц не намеревался прервать свой путь, ему наконец пришлось остановиться, чтобы понять, почему он не разбирает дороги.

Сквозь полумрак он направил коня к лесопилке на опушке соснового леса. Добродушный лесоруб был лишь ненамного старше его. Он был рад принять путника на ночлег и разделить с ним одинокий ужин у костра с треножником, а затем и дружескую беседу.

— Расскажи мне, что ты знаешь о Розовом Короле, — попросил его принц.

— А, сейчас уж нет Розового Короля, после чародейства. — Лесоруб улыбнулся, словно шутил.

— Расскажи об этом.

— Ты, вероятно, знаешь лучше, чем я. Эту историю рассказывают, сколько я себя помню. У короля и королевы была дочь, и они пригласили двенадцать ворожей на праздник, чтобы те благословили девочку своими дарами.

— Ворожей? — Принц никогда не выяснял у матери, что это такое.

Лесоруб пожал плечами.

— Может, духов-хранителей. Это было давно. Язык с тех пор изменился. Некоторые называют их феями, насколько я понимаю. Так что двенадцать фей были приглашены, но пришла тринадцатая, и когда увидела, что на празднике нет для нее места, прокляла принцессу. — Он поднял большой палец, показывая, куда вонзилось отравленное веретено. На пальце у него были странные маленькие засечки, а также на шее, щеке и руке. С того места, где сидел принц, они выглядели непривлекательно, как старые следы зубов.

— Но одна из двенадцати смягчила проклятие, заменив его сном на определенный срок?

— Точно! После праздника Розовый Король попытался уничтожить все веретена. Но это ему не удалось, одно веретено случайно осталось во дворце. В назначенный срок принцесса нашла его, оно ее привлекло, и так сбылось злое пророчество.

Он усмехнулся, и в свете тлеющих угольков костра его продолговатое лицо и темные, коротко стриженные волосы внезапно показались принцу хорошо знакомыми. Лесоруб прищурился и мягко сказал, будто декламируя:

— Она погрузилась в глубокий сон. И король, и королева, которые только что пришли домой, тоже уснули. Уснули лошади в конюшне, собаки во дворе, голуби на крыше, мухи на стенах. Даже огонь в очаге перестал гореть и тоже уснул. И все застыло в безмолвном сне, а вокруг дворца начала расти колючая изгородь...

Он прервал рассказ с улыбкой, кивнув покрытой шрамами, смутно знакомой головой. Но все эти красочные подробности породили у принца ощущение, что каждый из них говорит о своем.

— Извини, — сказал он, ставя пустую пивную кружку на камень, — но дворец не такой. Там нет ни короля, ни королевы. Только принцесса. Даже колючей изгороди нет.

— Тогда ты слышал эту историю в другом изложении. В каждой части земли свое переложение, я полагаю.

— Ты думаешь, это сказка?

Добрые глаза лесоруба расширились от удивления и тревоги, будто он кого-то обидел. Он показал ладони обеих рук.

— Прости. Я всего лишь лесоруб. Вот моя делянка, а о том, что за ее пределами, я ничего не знаю.

— Ты действительно думал, что рассказывал мне сказку?

— Так я слышал. Так мне рассказали. Но я готов исправиться. Пожалуйста, пойми правильно мой рассказ.

— Нет, это ты меня прости, — возразил принц, не желая казаться грубым после такого

гостеприимства. Он слушал бульканье горшка на огне, где варились оленьи рога для клея, но когда взгляд его упал на тлеющие угольки, все, о чем он мог думать, это о том, что сбился с пути. А затем до него начало доходить.

Он не просто воспользовался другим маршрутом, чтобы добраться сюда, но и ушел в сторону во времени, так что, что бы ни случилось во дворце, здесь это было лишь отдаленной легендой. Вновь перед его мысленным взором мелькнули черты матери. *Знаешь, есть ведь и другие миры...* Казалось, он в своем бесцельном странствии проскочил через трещину в карте в место с абсолютно иными возможностями, где даже история его собственного прошлого звучала, как детская сказка.

Другие миры... Он внимательнее взгляделся сквозь дым в хозяина. Коллючий холодок пробежал по правой стороне его туловища, заставив онеметь правую руку и щеку. Всем, за исключением шрамов, этот лесоруб был похож на него самого и на его братьев и сестер. Семейное сходство было столь сильным, что он с легкостью сошел бы за его старшего брата.

— Как твоё имя? — спросил принц, уже зная ответ.

— Фридрих.

Принц невольно кивнул.

— И в твоей истории, — заикаясь, спросил он, — как все закончилось? Принцесса проснулась? Все вернулось к жизни?

С минуту тот, казалось, не хотел отвечать.

— Когда срок чар истек, пришел королевский сын. Он поцеловал ее, она проснулась, и все ожило.

— И они поженились?

— Да, они поженились.

— А злая фея?

— Не понял.

— Что стало с той женщиной, которая создала все несчастья? Ее наказали?

— Этим наша история заканчивается. Пробуждением и свадьбой.

Принц, упираясь бородатым подбородком в колено, покрутил в руках веточку и бросил на раскаленную головню.

— Если бы это была не просто сказка, — спросил он тихо, — *ты* хотел бы разбудить принцессу?

Лесоруб засмеялся.

— Я рублю деревья. Только королевские сыновья пытались пробраться сквозь ограду из колючек. И потом, не принц ее разбудил, а некто, появившийся в нужное время. — Он поднялся на ноги. — Мне завтра рано подниматься. Я покажу тебе, где кровать. Не слишком изысканная — обычно я там сплю, — но добро пожаловать. Можешь оставаться здесь, сколько пожелаешь.

— Ты очень добр. — Принц тоже поднялся. — Но думаю, я продолжу путь. Я достаточно дал отдохнуть коню и слишком уклонился от дорог, по которым должен был ехать. Спасибо. Большое тебе спасибо.

В этот момент до него донесся отдаленный нарастающий звук, сопровождаемый звоном и механическим свистом, который словно вырывался из-под земли, слегка задрожавшей под ногами.

— Что это? — спросил он, когда звук начал замедляться.

— Всего лишь локомотив. Везет скотину в Карлсруэ. Я уже нахожу этот звук бодрящим. И железная дорога облегчает мне работу: я перевожу бревна на телеге только до станции. Оттуда их доставляют в Ганновер и Вюртемберг.

Принц не имел ни малейшего представления, о чем тот говорил. Названия ничего для него не значили; эти места не фигурировали ни в одном из знакомых ему миров. Но полный новой решимости, он не хотел больше терять время.

— Ты не укажешь мне обратный путь к дороге? — спросил он, изучая лицо Фридриха с отметинами зубов в сумраке, который, казалось, въедался в него все глубже.

Лесоруб не отвечал. В быстро спускающейся тьме он поднял правую руку, выглядевшую бесплотной в темно-коричневом рукаве, и указал прямо вперед, мимо того места, где стояла привязанная лошадь мажордома. Принц повернулся, взобрался в великолепное седло и в просвете меж деревьев увидел огни другого домика. Ни просвета, ни дома не было видно, когда он прибыл сюда.

— Еще раз спасибо, — повторил он, пока лошадь ждала, куда он ее направит. Но лесоруб ничего не ответил. Принц знал, что сам пересек границу, возможно, отделявшую его родину от земли, которую он всегда считал родиной матери. Ему был предоставлен случай избежать того, что могло ждать его во дворце, но он решил отринуть это случай.

Он направил коня к освещенным окнам, а вскоре прискакал к маленькому озеру и на его берегу узнал домик трех пряильщиц. Теперь он скакал по тропинке, которую хорошо помнил и которая вела ко дворцу.

Глава семнадцатая

Это было похоже на верховую езду. Гримм ощущал нарушения ритма. Он представлял, что скачет по прямой проселочной дороге на такой надежной лошади, что может позволить себе рассматривать пролетающий пейзаж, хотя, как у всадника создается полное впечатление лишь в конце или середине дороги, так и ближайшая деталь терялась для него — терялось буквально все вокруг, кроме ощутимой тревоги.

Он горячо желал, чтобы возница не увидел, как он свалился с сиденья. Через минуту-две он бы, несомненно, поднялся, и никто бы ничего не узнал. (Никто же не видел, как он упал.) Он мгновенно потерял сознание. Но как только к нему подбежали, эта странная фантазия о скачке начала преследовать его, и так продолжалось какое-то время.

Все, что оказалось рядом, было нематериально, хотя он знал, что находится на оживленной улице с деревянными домами, а затем понял, что его медленно ведут лестницей, по которой он раньше столько раз поднимался. Он узнал запах сюртука человека, чья рука все время была у него на локте, даже после того, как они вошли в квартиру и обнаружили там людей, вероятно, плакальщиков на поминках. Начать с того, что он не мог отличить мужчин от женщин. Рука на локте направляла его по коридору в сторону спальни, развязывала ему шнурки, а затем помогла лечь на кровать.

Гримм, в воображении все еще мчавшийся во весь опор по дороге, смутно различал лицо своего спасителя. Затхлый запах сюртука говорил о том, что это был его брат, но он не мог вспомнить, как того зовут. Затем, когда этот человек подошел, чтобы взбить подушки, имя вспомнилось так отчетливо, что Гримм едва слышно вскрикнул:

— Фридрих!

До него донесся утешающий голос, как будто говоривший «да». Остальные тоже были в комнате, но слишком далеко, чтобы услышать их или что-то сказать.

— Фридрих! — громче повторил Гримм, обнаружив, что нос и горло совсем забиты, а вся правая сторона тела странно тяжела, будто на ней лежит земля.

Вновь прозвучал шепот:

— Ты знаешь меня...

Затем призрачная лошадь понесла Гримма слишком быстро для осмысленных бесед, хотя его собственные ответы были слышны очень хорошо. Дважды его переворачивали, и он чувствовал на себе сильные и уверенные руки, но это не были руки брата. Прохладные пальцы проверяли, раздвигали его губы, исследовали горло. Шум голосов был менее оживленным. Он слышал тихий горестный смех. Были ли его глаза закрыты или открыты, он видел лишь горизонт, а на нем — башенки далекого дворца, которые грозили раствориться, пока он до них доберется. Мужские и женские голоса стали отчетливыми. Он прислушался к вереницам слов, которыми перебрасывались над ним, как ударами.

Когда он приподнял голову, рядом были лишь двое. Молодой человек с коротко стриженными волосами стоял спиной к кровати. Женщина была его сестрой Лоттой, нет, не

Лоттой, а ее подругой из аптеки «Под солнцем», девушкой, к которой Гримм питал особую симпатию — Дортхен Вильд. Она видела, что он смотрит в ее сторону, и отвела в сторонку мужчину, прежде чем подойти к кровати. «Спокойно» и «спите» были единственные слова, которые Гримм услышал от нее. Ему показалось, что она дрожит, когда мягко и нежно она отвела волосы с его лба. Все же это была не Дортхен. Возможно, красивее, но не она.

Он закрыл глаза, а когда вновь открыл, он был один. Он чувствовал, что он грязный, хотя и не так, как обычно. В открытое окно он видел не купола, а крыши домов на фоне бледного полуденного неба. У изножья кровати был умывальник, в рамке у окна с розовыми, украшенными лентой занавесками — дагерротип радостного ребенка, большой горшок темно-красной герани. Комната была удивительно чистой, но пахла чем-то вроде сырого зерна и плесени, как тридцать лет назад, когда Гримм последний раз был здесь.

Он сел на постели, что сразу облегчило заложенность носа и горла, и медленно вернуло к жизни правую часть тела. Раньше ему пришло в голову, что он умер в экипаже и его перенесли в какую-то из параллельных жизней в качестве либо наказания, либо поощрения — понять это у него не было времени. Он с удивлением подумал, что перепутал Куммеля с Вилли и их покойным малолетним братом, но это удивило его меньше, чем то, что он перепутал Августу с Дортхен. Ах, дорогая Гюстхен, которая, вероятно, председательствует сейчас в гостиной на вечере без главного почетного гостя.

Он свесил ноги с кровати и умудрился встать лишь с легкой дрожью в коленях. Даже если они его уже и не ожидали, он обязан своей племяннице и должен там появиться. Некоторые из лиц, казавшихся невыразительными при его прибытии, теперь отчетливее всплыли в памяти. Ни одного знакомого. Большинство из них по возрасту были ближе к Августе, многие еще моложе — дети.

Он осторожно, по коврикам, дошел до открытой двери. Гостиная, справа, в десяти шагах, казалась очень далекой. Одной рукой держась за обшитую панелями стену, он наконец добрался до дверного проема и посмотрел на приглушенно переговаривающееся скопление людей.

Гости в парадных костюмах и платьях, были не в своей тарелке, едва притрагиваясь к блюдам из мяса и выпечке и слегка отпивая шведский пунш. В одном конце комнаты с полированным полом — у большого рояля, служившего постаментом для множества фотографий в серебряных рамках — стоял аналой со ступеньками, на котором лежала неоткрытая книга.

Куммель первым его заметил. Широко открыв глаза, он бросился через комнату предупредить Гюстхен. Веки ее затрепетали, когда она посмотрела в сторону Гримма. Затем, к его удивлению, когда все замолчали, она рассмеялась.

— О, дядя! — вскричала она, подходя и поднимая руку к голове, чтобы поправить волосы, выбившиеся из-под шпилек. — Ты же без туфель!

Когда Якоб появился в дверях, пронесся одобрительный шум. В руках у него была стопка из двенадцати новоизданных книг, только что от переплетчиков. Он робко осмотрел гостиную, возвращая тридцать ответных улыбок самым дорогим для него людям, которые сидели в тесноте, поскольку елка со свечками занимала большую часть пространства перед окном. Пламя свечей отражалось на поверхностях разных предметов, но создавался общий эффект теплой темноты, которая нарушалась лишь морем радостных лиц.

Женщин было больше, чем мужчин. Глаза Гримма перебежали с Филиппины Энгельгардт к семье Гассенпфлуг, затем к девицам Гакстхаузен и семейству Вильдов. Он и Вилли не откопали бы так много чудесных сказок, когда бы не они, незаменимые рассказчики. Если бы первый том имел успех, все сказки заслуживали бы в него попасть. Но Якоб и не ожидал успеха. Когда он смотрел на двенадцать книг, которые держал в руках, он мог думать лишь об оставшихся восьмистах восьмидесяти восьми на складе Реймера в Берлине, и ему было интересно, стала ли кипа от этого меньше. Что касается второго тома, он вообще сомневался, что тот когда-либо увидит свет.

— Хватит ждать! — вскричал Ахим фон Арним, один из немногих, кто сидел. — Дайте нам увидеть плоды трудов!

Рядом с братом появился раздумавшийся Вилли. Он подмигнул Якобу, освобождая его от шести экземпляров и начав раздавать их. Заметив, что Якоб не делает того же, Дортхен Вильд, которая только что подстригла обоих братьев, тихо вышла вперед.

— Позволь мне, — прошептала она, беря оставшиеся книги и распределяя их среди гостей, стоявших перед высокой, освещенной свечками рождественской елкой.

Последовал невнятный шум, прерываемый иногда случайными возгласами и хихиканьем. Некоторым гостям уже довелось видеть рукопись «Сказок для молодых и старых». Другие, как Клеменс Брентано и фон Савиньи, долгое время были консультантами этого проекта. На самом деле появление книги не было сюрпризом. Эти люди были снисходительны, но на некоторых лицах Якоб заметил разочарование — особенно на лице семилетней дочери фон Савиньи — и еще он поймал несколько несчастных взглядов, брошенных на длинные и сложные примечания.

Сам издатель Георг Реймер сетовал, что напечатал книгу непонятно для кого. Переложения историй были слишком длинными для детей, а содержание слишком выбивающимся из культурного контекста, чтобы привлечь внимание ученых. И Якоб знал, что в комнате присутствовали такие, кто был убежден, что публикация сказок с их подлинными грубыми очертаниями — главное притязание книги на оригинальность — отпугнет, а не привлечет обычных читателей. Фридрих Рюс в одном из нескольких первых враждебных отзывов уже сказал, что книга содержит большое количество «самых жалких и безвкусных вещей, какие только можно себе представить».

Возможно, Вилли был прав. Сказки следовало «одеть». Если бы было другое издание, Якоб с удовольствием позволил бы младшему брату, в некотором отношении более проницательному, править и менять содержание на его усмотрение.

Дортхен вернулась и встала рядом с Якобом. Впервые со времени их знакомства она взяла его под локоть и сильно сжала.

— Это будет прекрасно, — сияя, уверяла она. — Это принесет тебе славу и состояние.

— Состояние? — переспросил Якоб с тонкой улыбкой, сожалея, что она так быстро убрала руку.

Будучи слишком занят, чтобы поговорить с Реймером, он предоставил Вилли договариваться об условиях издания. В результате они добились бесчисленных протестов издательства, но не контракта в письменном виде или же соглашения о том, когда будет выплачен авторский гонорар. По поводу выплат Реймер дал понять, что мог бы дать Фердинанду, самому неустроенному из братьев, работу в своей компании. Хозяйство требовало дополнительного дохода помимо того, что Якоб получал у короля Вестфалии; ради этой встречи он превзошел самого себя, но обычно они с братьями обходились двумя приемами пищи в день.

Дортхен направилась к двери, показывая Лотте, что им следует пойти на кухню. Невысокая, неутомимая, с каштановыми волосами, уложенными вокруг головы и завитками, спускающимися к ушам, Дортхен играла роль хозяйки старательнее, чем сестра Якоба. Несколько минутами позже они вернулись с подносами с пряным вином в маленьких чашечках, от которых шел пар. Держа свою теплую чашку в руках, Якоб увидел, как Дортхен кивнула Савиньи, который с другого конца комнаты попросил тишины.

— Вы не ждете от меня особых речей, — начал он, держа том в зеленом переплете. — Все слова, которых можно желать, собраны здесь, в этой книге. Все то вечно новое, что делает эти сказки жизненно важными и для молодых, и для старых.

Послышался неясный шепот одобрения, и Савиньи улыбнулся сперва одному брату, потом другому, но на протяжении этого короткого тоста глаза его с любовью смотрели на Старшего.

— Шиллер утверждал, что сказки, рассказанные ему в детстве, имели значение более глубокое, нежели истины, кои преподала ему жизнь. Эта книга дает возможность

следующим поколениям немцев сказать то же — будем надеяться, что это произойдет в новом, объединенном рейхе, который займет свое место среди других независимых государств Европы. Мы, немцы, образуем единый организм: конечности его требуют одной головы. И даже когда мы празднуем успех Якоба и Вильгельма, в то время как император-корсиканец тонет в русских снегах, мы, конечно же, приближаемся к тому исходу, которого более всего желаем. Я полагаю, эта книга знаменует важный шаг на этом пути. Я знаю, что некоторые задаются вопросом, для кого предназначаются эти сказки. Они для молодых? — спрашивают они. Они для образованных? Я говорю им, что эти сказки для всех — они для Германии! Ваше здоровье!

Губа Якоба дрожала, и Дортхен, вновь стоявшей рядом, пришлось напомнить ему, чтобы он сделал глоток из своей чашки. Она уже смелее смотрела на него.

— Твоя книга будет жить, — улыбнулась она со спокойствием, которое сняло все его сомнения. — Я знаю это, Якоб. У нее будет такая жизнь!

В ее устах это был восторг, а не утешение или сожаление о жизни, в которой ему так и не удавалось пожить для себя. Он кивнул, глядя перед собой, но только после заинтересовался, не означало ли это — вкупе с тем, что она стоит рядом — что ему больше не нужно искать жизни, в которой он бы по-настоящему жил. Если она это имела в виду, то он был рад. Рад до глубины души. Но дать ей понять, насколько он рад, означало бы перейти некую границу, а он еще не был к этому готов.

Гримм мог лишь потихоньку отщипывать кусочки жестковатой баранины и маринованных корнишонов, которые Гюстхен принесла ему с буфета. Сидя у окна, где некогда его семья ставила рождественскую елку, он покорно отпивал из стакана с персиковым бренди. Куммель принес ему туфли, но не зашнуровал их. Чего они боялись? Что он убежит?

Мы ткем, думал он, *мы ткем...* Трудно было чувствовать себя просто призраком на собственном празднике. То и дело гости смотрели в его сторону и, поймав его взгляд, улыбались и кланялись. В большинстве своем они держались от него на почтительном расстоянии. Его можно было бы заключить в карантин в этом солнечном углу, особенно после того, как он несколько раз чихнул и теперь ощущал страшную тяжесть в голове.

По словам Гюстхен, среди гостей были либо родственники, либо бывшие слуги тех пожилых горожан, которые некогда пополнили первоначальное собрание сказок. Некоторых она назвала по именам, и Гримм их узнал. В Касселе и его окрестностях за последние пятьдесят лет не было недостатка в людях, утверждавших, что помогли братьям в их работе. Их было так много, что если бы все они говорили правду, то при делении книги на всех получилось бы, что каждый из таких помощников привнес лишь пару абзацев.

Находящиеся в комнате, казалось, ожидали чего-то особенного, хотя Гримм не мог понять, чего именно. Он сидел в кресле с мягкой обивкой около часа, но ему казалось, намного дольше. Крики на улице часто заглушали шум разговоров в комнате. В комнате сильнее всего чувствовался запах апельсинов, но по мере того как время шло, он все явственней ощущал запах эфира.

Владельцы квартиры, столь великодушно предоставившие свой дом незнакомым людям, не докучали ему. Но один раз их маленькая внучка забралась на кафедру, открыла книгу — которая была первым изданием «Сказок», принадлежавшим Вилли, — и обворожительно, хотя и сбивчиво, прочитала «Золотого гуся». Позже Гримм заметил, что она играет на полу со знакомой моделью — кареты, сопровождаемой драгунами и студентами на переезде через Ганноверскую границу. Сколько таких вещей, задался он вопросом, еще ходит по стране? Она подняла глаза от маленького краснощекого ссыльного, который махал рукой из кареты, на самого Гримма. Очевидно, ей трудно было поверить, что это одна и та же личность. *Мы ткем, мы ткем... Мы ткем тебе саван...*

Другой ребенок, мальчик лет пятнадцати, подошел с экземпляром «Сказок» 1823 года в переводе Эдгара Тэйлора и с иллюстрациями. По его просьбе Гримм подписал свое имя на

титულном листе, но понял, что предплечье еще плохо слушается, и потом ему даже пришлось переложить перо из правой руки в левую.

Гюстхен, слегка посмеиваясь над его легким полубредовым состоянием, мужественно скрывала беспокойство и смущение, хотя раньше, когда она попросила Куммеля принести ему туфли, Гримм слышал, как она назвала его «отец» вместо «дядя». Он также видел, что она дважды разговаривала у дверей с высоким лысеющим мужчиной с окладистой бородой, единственным среди гостей, кто курил сигареты. Из-за его хорошо скроенного сюртука и хмурого вида Гримм принял его за доктора, который ранее осматривал его в спальне. С тем же успехом он мог сойти и за владельца похоронного бюро. Худой маленький мальчик подошел к нему, и Гримм, взглянув на свои пальцы, заметил, что они покрылись желтоватыми пятнами.

Гюстхен и служанки пошли провожать гостей в коридор. По мере того как те вереницей выходили, Куммель подошел и встал у кресла Гримма, словно для того, чтобы не дать старику сбежать. Слуга протянул руки из-за спины, подавая Гримму туфли.

— Я надену их вам, хозяин? — спросил он, прежде чем опуститься на колени.

Гримм изучал завитки коротких волос на затылке Куммеля. Пальцы его заledenели, хотя на ногах были теплые носки.

— В спальне, — проскрипел он, — я назвал тебя Фридрихом.

— Это имя, на которое я откликаюсь, — ответил Куммель, пожав плечами и подняв глаза, так как он все еще завязывал шнурок. Закончив, откинул голову и посмотрел Гримму в глаза. — Но тогда, герр профессор, чего же вы *не* знаете?

Гюстхен поторопилась к ним через комнату, прежде чем Гримм попытался заговорить снова.

— Дядя, — объясняла она поспешно, чтобы он не успел начать сопротивляться, — я все приготовила для того, чтобы сделать фотографии. Тебя, всех нас, в твоём старом доме. Конечно, свет в комнате слишком тусклый, поэтому фотограф со всем оборудованием расположился в кабинете. — Гримм кивнул, поняв наконец, откуда запах эфира и пожелтевшие пальцы. — Он подготовил фотопластинки, и, может быть, у нас получится потихоньку перевести тебя туда...

Она не оставила ему шанса сопротивляться. Ее рука слегка сжала его локоть, когда он стал подниматься. Гримм не возражал против фотографии. По пути к выходу он даже зачесал волосы на лоб. Племянница все еще держала его под левую руку, а Фридрих Куммель держался поблизости с правой стороны, готовый подхватить его, если он споткнется.

Гримм шел потихоньку. Но в воображении он вновь был на коне, и то, что видел из седла, было ярче того, что он видел вокруг себя здесь, в Гессене. Та сокровенная земля его фантазии, где он скакал на коне, словно заключала в себе больше смысла, чем реальный новый мир двойной бухгалтерии и освещенных по ночам фабрик, через который он теперь хромал с самыми дурными предчувствиями.

Мы ткем, мы ткем... звучало в ритме стука копыт по долине. Скоро, сказал он сам себе. Скоро я буду дома.

Глава восемнадцатая

На пути к скале, на которой стоял дворец, принц заметил много изменений. Там, где раньше он видел лишь отдельные заброшенные постройки, сейчас стояли благополучные деревушки, вдоль узких долин простирались ленточки красивых домиков, тянущиеся от работающих шахт. Где раньше он видел, что на рассвете лишь потягиваются и зевают, теперь кипела работа. И вместо одинокого угольщика или разносчика, встречавшегося прежде на его пути, теперь он обнаруживал дюжину процветающих семей.

Разве в каждом месте не свое собственное время? Он не мог сказать, сколько лет прошло с момента, как он ушел. И лишь надеялся, что никто больше не посягнул на его

принцессу. Все, о чем он молился, было, чтобы когда она наконец откроет глаза, она его узнала и приняла. Ему не приходило в голову, особенно при виде столь деятельных людей, что она может еще спать.

Приближаясь к подножию утеса, он миновал несколько групп солдат в синих мундирах, которые палили из ружей по мишеням. Но ни один человек в форме не остановил его, пока он не подъехал к началу извилистой дорожки, где перед пыльным плацем, в сторожке, теперь располагался караульный пост.

Он подъехал, спешил и оглянулся в поисках офицера, которому надо было представиться. Казалось невероятным, что ему удастся дойти прямо до самых ступенек в начале дорожки, но он все шел, пока сзади его не окликнул знакомый голос:

— Ты вернулся! Я не ожидал снова тебя увидеть!

Он обернулся и увидел мажордома, который хоть и выглядел еще более дряхлым, чем прежде, но голос его был ровным, а улыбка иронической.

— Не хочешь ли ты сказать, что *надеялся* меня не увидеть? — спросил принц. — Иначе зачем тебе было оставлять мне лошадь и указывать ей дорогу?

— Как можно указать дорогу лошади? Лошадь подчиняется всаднику. Если она отвезла тебя домой, значит, ты этого хотел. Если вы петляли в пути, то лишь из-за твоих собственных сомнений.

Он улыбнулся.

— То, что я здесь, должно говорить само за себя.

Старик сделал знак, что им нужно вместе подняться по ступенькам. Караульные пропустили их, выпрямившись по стойке «смирно». Пока они поднимались под лучами жаркого полуденного солнца, мажордом продолжал говорить, не делая пауз, чтобы перевести дух.

— Многое так изменилось с тех пор, когда ты был тут последний раз, и ты, несомненно, это заметил.

— Меня интересует только принцесса. Ты поручишься за меня перед ней? Ты знаешь, что я пришел первым. Были здесь с тех пор другие кавалеры?

— Вскоре ты получишь ответы на эти вопросы. Хотя тебе следует знать, что Розовое королевство находится под угрозой вторжения. Уже ведутся приготовления к оборонительной войне.

— Но почему это должно иметь значение для меня?

— Если тебя интересует принцесса — которая по закону сейчас глава государства, — дела этого государства должны иметь для тебя значение. Император, войско которого собирается на восточной границе, намеревается не только захватить королевство, но и править им в качестве супруга принцессы. Тебе придется сражаться за то, к чему ты стремишься.

— Ты меня раньше недооценивал, — сказал принц, смеясь. — Если нужно, я буду сражаться — и одержу победу.

Показались верхние ступеньки, и они пошли по террасе, ведущей к дворцу. С каждым шагом он чувствовал все больше решимости стать таким, каким его хотела видеть мать, ради чего и отправила из дома. Оставался единственный вопрос: успеет ли он жениться на принцессе, прежде чем уйдет воевать? Ведь их свадьба должна завершиться двойной коронацией. *Ты принц, и ты можешь быть королем.* Новый Розовый Король.

Он замедлил шаг, пропуская мажордома, и тот сделал ему знак, когда они достигли внутреннего двора. Даже на расстоянии двадцати шагов танцующие фонтаны приветствовали их приятными прохладными брызгами. Старик не показал дорогу, а продолжал сопровождать его мимо старой башни с чердаком в уединенный сад. Идя по песчаным дорожкам, они миновали овощные грядки и подошли к коротко подстриженной лужайке, окруженной кустами аканфа и рододендрона.

Выше впереди стоял белый садовый домик, из тех, в каких зимой запекают на раскаленной плите картошку и яблоки. Перед домом спокойно играли двое детей в легких

летних кофточках и босиком. Волосы у одного были светлые, а у другого — смоляного цвета, но они явно были близнецами примерно двух лет от роду. Когда они прыгали или садились на корточки, самое незначительное движение, совершаемое одним, отражалось на другом. Принц обратил внимание не столько на детей, сколько на необычное пугало, вокруг которого они танцевали.

Он видел его только сзади: хорошо скроенный камзол, наброшенный на деревянную крестовину и увенчанный белым париком с черной лентой на затылке. Меч в ножнах болтался на перевязи где-то посередине крестовины и спускался ниже края сюртука. Он узнал каждую вещь. Когда-то все они принадлежали ему.

По мере того как он спускался по тропинке, ему стало видно фигуру в профиль. В камзол была напихана вязанка соломы, парик сидел на том, что выглядело, как восковая маска с лица, напоминавшего его собственное. Дети играли в догонялки, не столько вокруг фигуры, сколько с ней самой, крича что-то друг другу и ей, и обращаясь к ней «папа».

Остановившись, он нахмурился, а мажордом заговорил, словно читая его мысли:

— Да, это твои дети. Они — это все, что ты оставил их матери, когда ушел: они, камзол, парик и меч.

— Я очень скоро вернулся, — выдохнул принц, в изумлении уставившись на них. — Я ничего не понимаю. Как я мог знать, что она проснется и родит?

— Она еще не проснулась. Сначала родились дети, а она все еще спит...

— Но почему, если все вокруг нее вернулось к жизни?

— Потому что отравленная щепка веретена еще была у нее в пальце. Но пытаясь получить от нее еду, один из детей ртом ухватил ее большой палец, вытащил щепу и таким образом освободил ее от чар.

Принц смотрел так пристально, будто сам был заколдован. *Я горжусь тобой. Очень горжусь. И верю, что ты будешь так же гордиться своими детьми.*

— Лицо, которое они нарисовали чучелу, — оно как мое.

— Оно твое. У принцессы был слепок, сделанный с отпечатка, который остался на льне на чердаке.

С него сделали несколько масок. Как только одна начинала трескаться, она тут же просила сделать другую. Мне не нужно ручаться за тебя. Она знает твое лицо так же хорошо, как свое собственное.

— И она любит его?

— Почему бы тебе самому не спросить ее?

Мажордом указал на кресло с высокой спинкой, стоявшее возле садового домика. Там в тени сидела с шитьем молодая женщина с распущенными золотистыми волосами. Она была так занята, что не заметила, как они пришли.

— Я женюсь на ней, — заявил он старику, который уже начал потихоньку пятиться. — Пожалуйста, приготовь карету, чтобы послать ее в город, где живет моя мать. Ее нужно привезти на свадьбу.

— Как скажешь.

Перед тем как удалиться, он поджал губы, наклонил голову и щелкнул каблуками. *Дворец всегда был за пределами моей досягаемости,* сказал он однажды. Он играл здесь ту же роль, которую — он сказал это при первой встрече — играли до него его отец и дед. В душе он, должно быть, тоже радовался. Принц проводил его взглядом, потом повернулся к садовому домику.

Принцесса, уже обнаружившая его присутствие, встала и отложила шитье. Дети прекратили играть и смотрели на него.

И он улыбнулся, достаточно широко, чтобы охватить улыбкой не только их троих, но и дворец, и сад, и всю эту высокую, поросшую лесом скалу, которая стала для него домом, куда он наконец пришел.

Глава девятнадцатая

Августа была приятно удивлена, обнаружив Гримма уже лежащим в постели, когда принесла стакан с его вечерним питьем. Она чувствовала на себе его озадаченный взгляд, когда подошла к столу, а затем села лицом к нему в тусклом свете свечи. События этого дня так разволновали ее, что ей больше нечего было терять. И даже если этот разговор ни к чему не приведет, у нее все еще оставалась возможность прибегнуть к помощи Куммеля.

— Куммеля нет? — спросил Гримм, откладывая книгу. Волосы его рассыпались веером по подушке, как у утопленника. — Он еще у нас?

— Конечно, дядя. Он тоже завтра поедет обратно в Берлин. — В глазах его была какая-то новая темнота, и Августа боялась, что он утратит выдержку. — Он вернется к Дресслерам, помнишь? Он с нами только на месяц.

— Тогда почему он не пришел приготовить мне одежду?

— Я сама сделаю это. Я предоставила ему немного свободного времени сегодня вечером. У него был в собственном распоряжении всего час, когда мы уехали из Гарца.

Опустив глаза, она поняла, что все еще держит в руках стакан с молоком. С извиняющейся улыбкой поставила стакан на прикроватный столик.

— Ты слишком много взваливаешь на себя, Гюстхен, — сказал он. — Особенно сегодня — устройство приема у тебя, должно быть, отняло много сил.

Она улыбнулась, отходя от кровати к окну и словно наудачу тронув спинку кресла с обивкой из потертого бархата. Прием. Он оказался так некстати! Возможно, наивно было с ее стороны полагать, что людское сборище застанет его врасплох и заставит довериться ей.

— Сейчас ты лучше выглядишь, — сказала она, как во сне глядя в щель между занавесками. За окном во дворе вновь дрались маленькие дети — неужели они никогда не сидят спокойно? — Врач сказал, все, что тебе нужно, — это несколько дней в постели, но я думаю позвать еще одного врача, когда будем дома.

Если он и ответил, она не слышала. Она особо и не слушала. Отошла к столу, над которым он уже потушил свечную лампу. Зеленая кожаная вкладка была заполнена стандартными карточками, которые он отсылал десяткам своих помощников в работе над «Словарем». Большая часть была написана не его рукой, кроме внесенных им самим небольших исправлений и перекрестных ссылок на полях. (Он никогда не правил собственную работу. Обычно он удивлялся, что отец перечитывал то, что он написал, прежде чем отправить издателям.)

Эта «колка дров» была той еще работой. Самой большой статьей была статья о слове *Frucht* — плод. Он все еще не продвинулся дальше буквы «F». Первоначально он надеялся завершить хорошо оплачиваемую рутину за десять лет, но даже со сторонней помощью на то, чтобы первый том увидел свет, понадобилось четырнадцать лет. В нем содержались слова от «А» до *Biermolke* (пивное сусло). При том темпе, каким шла работа, ему понадобится еще одна жизнь, чтобы добраться до конца алфавита.

Августа щелкнула по крышке маленькой отделанной орнаментом табакеркой и рассеянно взглянула на свое отражение в зеркальце на внутренней стороне крышки. Затем подняла кусочек кристалла, некогда лежавший на столе ее отца в Берлине. Прижимая его к щеке, слегка покачиваясь, повернулась к старику. Над верхней губой у него образовалась белая полоска от молока, ей хотелось подойти и стереть ее. Заметив, где остановился ее взгляд, он улыбнулся и вытер губу. Его взгляд остановился, как ей хотелось надеяться, на кусочке кристалла, который принадлежал его брату. Завтра семья поглотит их, как прилив у дамбы. У нее не будет возможности лучше этой.

— Ты очень скучаешь по нему? — спросила она. Неплохое начало.

Гримм сделал еще глоток из своего стакана, непроизвольно дернул головой.

— Его никто не заменит.

Прохлада кристалла успокоила Августу, но в тот же момент в ее сознание вернулся образ дяди, сгорбившегося, чтобы бросить землю на заснеженный гроб.

— Помнишь, — спросила она, — когда была еще девочкой, я спрашивала у тебя, почему ты не женился? — Он нахмурился, но она не заметила, чтобы он был сердит. — А ты ответил: «Зачем, если у меня есть твой отец!» А потом сказал: «А если серьезно, где я найду такую жену, как твоя замечательная мать». Ты помнишь это, дядя? Это было во время прогулки по Тиргартену.

Не отводя глаз, Гримм прочистил горло.

— Нет, это было перед тем, как мы дошли до Тиргартена. Там мы гуляли после. Этот разговор был на Унтер-ден-Линден.

Августа усмехнулась, приложила камень к виску, а затем аккуратно положила его на стол, обрадованная тем, что его феноменальная память ослабла лишь на время. В Марбурге его неспособность узнать отрывок из Гейне заставила ее поволноваться.

— Мне было интересно, что ты имел в виду.

Он отпил еще.

— Ты знаешь, что я имел в виду.

— Но все-таки, скажи мне. Хотя бы о маме.

Он пожал плечами.

— Что если бы мне повезло так же, как моему брату, и я бы встретил такую женщину, как твоя мать, я не остался бы холостяком.

— Без сомнения?

Глаза его следили за ней, когда она отошла от кровати к комоду, на котором стояли две керамические фигурки. Она заставила мужчину качать головой точно так же, как Гримм прошлым вечером. Глядя на него, она чувствовала, как слезы наворачиваются на глаза.

— Маме было столько же, сколько мне сейчас, когда она была помолвлена.

Последовала долгая пауза.

— Скажи мне, *Птица-подкидыш*, — сказал он наконец тихим и таким далеким голосом, словно он исходил из другого мира, — что ты хочешь знать?

Птица-подкидыш. Это пришло издалека. Это было название одной из сказок, которая нравилась Гюстхен в детстве, где была строчка, особенно поразившая ее детское воображение, и она постоянно просила его ее повторять: *Ни сейчас, ни когда-либо я тебя не покину*. И однажды он рассказал ей, не объясняя почему, что строчка эта еще до ее рождения очень много для него значила.

Слезы побежали по ее щекам. *Сказку, сказку, сказку*, — вспомнилось ей. Чувство смущения ушло, она заставила себя улыбнуться и сказала старику, чья голова перестала трястись:

— Я хочу знать мою собственную историю. Ты говорил когда-то, что у каждого есть своя история.

— Твою? Но что я могу рассказать тебе, милая?

Она покачала головой, огорченная своей глупостью. Слезы потекли сильнее.

— Прошу прощения. Я слабовольная. Моя мать не позволила бы себе такого, когда ей было за тридцать, правда?

— Ты не слабовольная, Гюстхен.

Добрые слова, но ей нужно было, чтобы он поднялся с кровати, подошел к ней, и она ощутила его прикосновение. И на самом деле она сравнивала себя не с матерью.

— Ты не слабый, — сказала она. — Ты никогда не плакал.

— О, плакал, — ответил он так быстро, что, казалось, сам себе удивился. — Лишь раз, насколько я могу припомнить. Но плакал.

— Я боюсь, дядя, — призналась Августа как ребенок, размазывая слезы по щекам тыльной стороной кисти, глядя на керамическую фигурку женщины.

— Ты взволнована, Гюстхен. Есть ли в самом деле чего бояться?

— Да, — ответила она резко. — Неведения.

И вытянула палец, чтобы заставить фигурку качать головой. Керамическая головка осталась неподвижной. Она попыталась снова.

— Она трясется, — заикаясь, проговорил Гримм. — По ней надо слегка постучать сбоку. Мужчина кивает, а у женщины голова трясется.

Августа опустила руку, склонила голову перед фигурками, будто стоя пред алтарем.

— Женитьбой, — сказал Гримм, поразив ее, — не для каждого всё кончается.

— Кончается?..

Она взглянула на него, но выражение его лица ничего ей не сказало. Она даже не совсем поняла, о ком он говорил. А говорил он с явным чувством, и это наполняло ее благоговейным страхом и смущением, хоть она и не понимала толком, почему.

— У тебя кто-нибудь есть, Гюстхен?

Это было неправильно. Она пришла поговорить не о себе — по крайней мере, не о середине или конце своей истории. *Кто-нибудь...* Она быстро потрясла головой, затем призадумалась и пожала плечами. Его следующие слова доказывали, что у них разные цели:

— Когда придет время, ты *узнаешь*. Тебе придется узнать — кем бы ни был этот человек.

В глазах его было какое-то предупреждение и одновременно разочарование, подумала она. Ей пришла в голову ужасная мысль, что Куммель, возможно, вел себя неосмотрительно в отношении того, что произошло между ними.

Внезапно она поняла, что это похоже на правду. Она знала, что Куммель и Гримм разговаривали в парке по пути сюда. Когда она спросила старика, о чем они говорили, и он сказал: «Мы рассказывали друг другу разные истории». Ужасно нервничая, она вдруг почувствовала, что бессознательно дошла до двери и взялась за ручку.

Гримм, лежавший на кровати, выглядел неестественно одеревенелым, будто весь сосредоточился на боязни нового приступа. Но Августе показалось, что он пытался удержаться и чего-нибудь не сказать. *Разговор всегда подождет*. Он так долго не разговаривал с ней; даже приезд сюда ничего не изменил. Она подозревала, что в душе он никогда не покидал своего письменного стола в Берлине, где был в безопасности за великой колючей изгородью из книг, под взором огромных строгих портретов предков, безумно беспокоясь о бисмарковских «железе и крови».

— Я думаю, мы очень близки, ты и я, — сказала она с какой-то безнадежной смелостью. — Возможно, невзирая на внешность, мы очень похожи.

— По части преданности семье — да...

— Нет, — осмелилась она прервать его, — я не это имею в виду. Не совсем это. Похожи в том, чего хотим от других людей. Как мы выбираем свое положение в этом мире. В этом отношении, полагаю, я многое взяла от тебя.

Она подошла настолько близко, насколько могла. Ближе, чем могла себе представить. Но при всей симпатии за его улыбкой она видела презрение к ее хождению вокруг да около. Все же это был человек, для которого детали значили очень много. И была одна деталь, которой Августе больше всего не хватало: веские основания, точные ссылки, детальные примечания.

— Я не могу делиться мудростью, Гюстхен, — сказал он. И она это знала. Раздача мудрости была скорее во вкусе его младшего брата. «Будущее — это земля, для которой нет карты», — сказал бы тот сейчас или еще что-нибудь в этом роде. Но Гримм, отказываясь так себя вести, выглядел лишь мудрее. — Твоя жизнь еще впереди. Слишком рано об этом говорить.

— Ты веришь, что люди меняются? Честно?

Он посмотрел на свой стакан. Она видела, что для него это невозможно, и вопреки себе жалела его.

— Думаю, мы можем попытаться переделать самих себя, — сказал он. — Иногда приходится. Мы все страдаем от того, что ты называешь неведением. Но возможно, знание не всегда все решает.

Она открыла дверь и оглянулась.

— Моя мать, — спросила она, — когда пришло время, *она* знала? О моем отце?

— Об этом тебе следовало бы спросить ее.

Его ответ был не столь резок, каким мог бы быть, но он явно вновь чувствовал себя на твердой почве. Ее практичная мать просто не пошла бы на такой разговор. Она едва ли поняла бы вопрос, не говоря уже о возможности правдивого ответа, тем более сейчас, когда она уже в столь почтенном возрасте. *Моя история, моя история...* Их было двое: дядя и мать. Оба, казалось, отчаянно пытались отрицать, что когда-то были молоды, и вместе, и каждый сам по себе; оба притворялись старше, чем были на самом деле. Что же это такое, ради чего они так хотели быть *слишком* старыми? Это был единственный верный вопрос, и Августа поняла, что никогда не сможет его задать.

Побежденная его благопристойностью, она улыбнулась:

— Доброй ночи, дядя.

И в океане пустоты, затопившей ее, когда она вышла, она поняла, что была права, когда просила Куммеля подождать ее у нее в комнате: уравновешенный, деятельный холостой мужчина; новоприбывший принц, который оказался в ее распоряжении.

Якоб сердечно пожал руку Вильгельму, поцеловал в щеку Дортхен, затем подошел к своему столу.

— Тост! — крикнул Старший слишком громко. — Надо сказать тост! Это самые воодушевляющие новости с конца оккупации!

Улыбаясь, Вилли закрыл дверь кабинета от декабрьских сквозняков. Ему понадобилось несколько минут, чтобы найти бутылку подходящего вина, открыть и перелить вино в графин.

Переведя взгляд с Дортхен на беспорядочную кипу листов, Якоб сел в свое кресло. Дважды он поднимал перо и вновь опускал. Отголоски услышанного, казалось, еще отдавались в голове. Три слова в особенности засели там, как обрывки шелка в терновнике: *Ничего не изменится.*

— Вилли настоял, что мы должны сказать тебе первому, — сказала Дортхен, пронзая его взглядом своих глаз, казавшихся вдвое больше обычного. — Остальным скажем позже. Я удивлена, что он не поговорил с тобой, прежде чем сделать мне предложение! Он говорит, что мы назовем в твою честь нашего первенца. — Она жеманно улыбнулась, совсем на нее не похоже. — Он ведь еще не говорил с тобой, не так ли?

Якоб улыбнулся в ответ. На столе между ними лежали первые пробные отпечатки второго тома его «Немецкой грамматики». Она сидела как раз там, где имела обыкновение сидеть фрау Виманн до того, как семья переехала на Фюнффенштерштрассе. В углу, где сходились две стены с книжными полками, она выглядела особенно миниатюрной. Якоб мог бы за несколько секунд найти любой заголовок книги, но за всю жизнь он вряд ли смог бы найти правильные слова, чтобы отреагировать на новости, которые только что принес ему брат. Тот стоял, легко положив руку на плечо своей невесты, словно был готов увести ее, если Якоб вдруг запротестует.

— Нет, — ответил он. — Вилли ничего не говорил.

— Но ты ведь знал, Якоб? Как ты догадался? Это же не могло тебя удивить? — Она наклонилась вперед, но все же была достаточно далеко.

— Нет, как раз меня это не удивляет. — Он обеими руками приводил в порядок кипу бумаг на столе. Рядом стоял гелиотроп в горшке, который Дортхен подарила ему два дня назад. — Я так рад за вас обоих! Сперва свадьба Лотты, теперь Вилли. Единственное, о чем я сожалею, что нашей матери нет с нами и она не может разделить наше счастье. Она, конечно, любила бы тебя, как собственную дочь.

Он взглянул на портрет матери, затем повернулся и вытащил с нижней полки рядом со столом «Семейную книгу».

Дортхен поняла и склонила голову набок, явно тронутая. Четыре Рождества назад Якобу подарили семейную хронику в напечатанном виде. Туда были занесены все важные события, которые касались его братьев и сестер, а в предисловии Якоб написал, что заботы о

семье были ближе его сердцу, «чем всякая чепуха в моей голове». Он счел необходимым занести сюда Дортхен, назвав ее *сестрой* и сказав: «Я люблю тебя так же, как свою семью».

Якоб ждал, что от такого волнения она заплачет. Вместо этого его собственные глаза наполнились слезами, когда он смотрел, как она сжимает на коленях сумочку в тон своему голубому платью. В голове у него звенело, и причиной тому были отнюдь не удары молота в кузнице внизу: *Ничего не изменится, ничего не изменится...*

— Это будет скромная свадьба, — сказала Дортхен. — Мое наследство невелико, и я знаю, что вы с Вилли получаете гораздо меньше, чем вам как библиотекарям причитается от курфюрста. Недостаточно, чтобы содержать других братьев. Тебе в самом деле не стоит беспокоиться об издержках.

Якоб улыбнулся, но стоимость свадебного завтрака еще не волновала его. Она была права: он не был удивлен. Несмотря на то, что он был поглощен работой над «Грамматикой», он заметил охлаждение Вилли к Дженни фон Дросте-Хюльсхофф и его возросший интерес к Дортхен. Роман с Дженни всегда казался скоротечным. Дросте-Хюльсхофф из Бекендорфа были гордыми аристократами-католиками, жившими в совершенно другом мире, нежели Гриммы. Почти инвалид, протестант, секретарь библиотеки с жалованьем тысяча талеров в год в качестве будущего зятя? Даже слава Вилли как одного из создателей удивительно успешного собрания сказок казалась сомнительной этим людям. Да, конечно, Якоб предвидел такой исход. И еще...

— Ты веришь нам, Якоб, не так ли, — настаивала Дортхен, — что ничего не изменится? Ничего. Во всяком случае, здесь. Будете ли вы с Вилли вести работу порознь или вместе за пределами библиотеки, вам не будут мешать. Я просто буду здесь — с вами обоими — гораздо чаще, чем сейчас. Я бы ни в коем случае не хотела вставать между вами. Ты будешь жить с нами. *Мы* будем жить с тобой. Вот как должно быть, Якоб. — Она неловко усмехнулась: — И я, как обычно, буду тебя стричь.

Он улыбнулся и опустил голову.

— Карл сказал, что моя голова выглядит неопрятно.

Она сделала движение пальцами, будто резала:

— Тогда сразу после обеда.

Затем добродушные смешки затихли. *Ничего не изменится...* Это звучало как приговор. Так мало изменилось — действительно — с тех пор, как умерла мать и с тех пор, как умер отец. Год за годом Якоб составлял все больше каталогов книг, публиковал все больше собственных, поскольку сфера его интересов изменилась, и он перешел к фольклору и филологии, и наконец — он достиг более или менее стабильного материального положения. Оглядываясь назад, на сорок лет своей жизни, он видел себя выкладывающим пологий откос из книжных томов. *Ничего не изменится...*

Пологий откос увеличивался. Больше слов, больше книг, больше ступенек, больше почетных докторских степеней. Возможно, однажды он мог бы получить профессорство при условии, что преподавательская нагрузка будет невелика. Жизнь его отца оборвалась всего четыре года назад: жизнь, в которой были высокие достижения, награды, женитьба, дети. И теперь для Якоба ничего не изменится. А он всегда молчаливо предполагал, что однажды перемены наступят.

Краем глаза заметив голубое пятно, он понял, что Дортхен встала с кресла и подходит к столу. Он чувствовал себя глупо, сидя за этим столом, будто давая ей профессиональную консультацию. Но если раньше тело его было неутомимо, то сейчас оно было словно свинцовое. Он даже не мог поднять голову.

— Подойди, — пробормотала она, — дай мне руку.

Он помнил, как девчонкой она рассказывала ему и Вилли свои истории. Она рассказывала их так хорошо, с такой спокойной материнской уверенностью. Он полюбил ее, когда впервые услышал «*Давным-давно, когда желания еще исполнялись...*» Маленькая ручка Дортхен накрыла его руку. Он все еще не мог встретиться с ней взглядом. «Я люблю тебя так же, как свою семью», — написал он. Тогда она этого не поняла, не поняла и сейчас.

— Говори, Якоб, — сказала она. — Скажи мне, что ты хочешь сказать. Скажи это *мне*, если ты не можешь сказать Вилли. Еще не поздно. Скажи. — Рука ее сжала его безжизненную руку, и он почувствовал, что его пальцы ожили. Он наблюдал за их странными, почти независимыми от него движениями, когда они переплелись с пальцами Дортхен. — Скажи это, Якоб. Ради меня и ради себя.

В коридоре слышался шум. Приехала на обед Лотта со своим утомительным Хассенпфлюгом. Якоб слышал, как Вилли тепло приветствовал их, затем услышал голоса Карла, который тоже вышел поздороваться; Людвига, Фердинанда. Последний был ближе всех к закрытой двери кабинета, спрашивая Вилли, почему тот держит графин и только *три* стакана.

Якоб поднял голову.

— *Ничего не изменится*, — заверил он Дортхен голосом, который готов был сорваться.

Щелкнула, открываясь, дверь, и появился Вильгельм во главе семейной процессии под рождественской омой. Пальцы Якоба вновь помертвели, но Дортхен крепко держала его за руку, когда повернулась к двери и тихо, гордо объявила о новостях, отправив своего жениха принести еще стаканы.

Она хотела, чтобы он ждал ее в ее постели. Время разговоров прошло; срок вышел, теперь она должна проснуться. И для этого она хотела оказаться в его руках, возвращаясь к жизни так же, как в ее воображении оживала статуя принцессы в Марбурге. *Женитьбой не для каждого всё кончается*. Над этим можно было много размышлять. Слишком много. Легко ступая по голому полу гостиницы, она вместо этого начала, как предполагал ее дядя, переделывать себя.

Постояв перед дверью, она поправила рукава платья и шиньон. Посылая Куммеля в свою комнату, она ничего не объяснила, а он ничего не спросил. Ее твердого взгляда было достаточно. Когда поворачивала дверную ручку, она больше чем когда-либо надеялась, что он уже ждет ее на широкой кровати.

Только свеча горела в пустой комнате на бюро слева от Августы. Она закрыла дверь, и взгляд ее привлек клочок бумаги под свечой, который оставила не она. Листок был наполовину исписан четким уверенным почерком, не ее рукой.

Глубокоуважаемая фрейлейн Гримм, прошу прощения, что не остался, как вы просили.

Я все устроил так, чтобы все желания профессора утром были исполнены одним из слуг гостиницы, который к тому времени освободится от своей работы. На него можно положиться, и он заверил, что ваш багаж будет в целости и сохранности доставлен на станцию и погружен в поезд. За это я заплатил ему заранее из собственных средств.

Прошу простить меня за то, что не выполнил условия оставаться с вашей семьей в течение месяца. По этой причине я отказываюсь от жалованья за последнюю неделю. Надеюсь, ваше путешествие обратно в Берлин будет приятным.

Письмо закончилось, и слабый крик сорвался с губ Августы: крик недоверия и отчаяния. И в этот момент она осознала, что была не одна. Осторожные шаги с балкона разорвали тишину, последовал шорох занавески, и спиной она ощутила холодок.

— Фрейлейн...

Августа застыла, но не обернулась. Сердце ее стучало так, что грозило вырваться из груди.

— Я запуталась, Куммель, — попыталась засмеяться она, — вы написали, что уходите, но на самом деле вы здесь.

— Я начал письмо и не смог его продолжить.

— Вы *покидаете* нас?

Она прижалась к бюро, глядя на восковые капли, изуродовавшие короткую желтую свечу в плошке. Он не отвечал. Она услышала тяжелый глухой звук, будто он упал на пол. Обернувшись, опираясь о бюро, она увидела, что он, высокий, бледный, стоит у изножья кровати. Ее принц здесь — потому что время пришло — чтобы наблюдать за ее пробуждением от сна, который длился всю жизнь.

Звук, который она слышала, был стуком его маленького чемодана, поставленного на пол. Руки Куммеля висели вдоль туловища, пальцы на левой чуть согнуты.

— Что случилось? — спросила Августа, пытаясь улыбнуться. — Куда ты уходишь? Почему? — Ей неистово хотелось сказать: «Возьми меня с собой».

— Профессор говорил с вами обо мне?

Куммеля нет? Спросил Гримм. *Он еще с нами?* Она молча покачала головой.

— Он поговорит.

Он улыбнулся, как будто над какой-то шуткой, которой Августа не могла слышать, и его затененное лицо стало прекрасным.

— Но сейчас? Почему ты должен уехать сейчас? Если что-то и произошло между вами, на вечере, да и после него, я ничего такого не заметила. И ты нужен нам, Куммель. Завтра больше, чем обычно, ведь профессор так слаб...

— Профессор будет в порядке, — перебил ее Куммель. — Он не умрет ни здесь, ни на пути домой.

— Ты это знаешь? На основании какого-то высшего ведения?

Он прищурился, и Августа ухватила рукой за бюро. Он не шутил. Ничего не изменилось, но он был другим. Не будь он одет в старый сюртук отца, она, может, и не узнала бы его. Он смотрел на нее, как загнанное в угол животное, не жестокое, но готовое напасть первым, если вынудят. Августа отвела взгляд.

— Ты пугаешь меня, Куммель. Почему ты просто не написал письмо и не ушел? Что тебе нужно от меня?

Она вновь взглянула на него и обнаружила, что он медленно качает головой. Она хотела шагнуть вперед, взять его голову обеими руками, прижать к себе, успокоить, стереть с него муку. Но не осмелилась двинуться с места. Во дворе двое детей дразнили друг друга, но сердце Августы звучало громче — правда, это слышала только она.

— Вы действительно не знаете? — сказал он.

— Не знаю что? Пожалуйста, скажи мне.

— Вы не знаете обо мне? — Это было как ужасная насмешка. — Вы не знаете, кто я? Он знает, ваш дядя.

Августа пристально смотрела на него, окаменев, а свеча уже начала оплывать, и комната озарялась крохотными отсветами. Затем на детскую ссору наложился более сильный шум: грохот товарного поезда в ночи. Легкий ветерок донес приглушенное мычание перевозимого скота, свист и лязг локомотива.

— Я еврей, — сдавленно проговорил он. — Я пытался не быть им. Я пытался, но я не мог — с тех самых пор, когда в десять лет я все потерял.

Звук поезда стих. Один из детей вскрикнул, и потом Августа ничего больше не слышала. Она отпустила крышку бюро, и пламя свечи выровнялось. *Думаю, мы можем попытаться переделать самих себя. Иногда приходится.* Ей хотелось усмехнуться, прогнать мысль о том, что это могло значить. Но вместо этого она начала ломать голову, пытаясь найти причину, почему для Гримма это было серьезным вопросом.

— Ты не хотел, чтобы мы знали? — пробормотала она. — А профессор узнал?

Глаза Куммеля вспыхнули.

— И его это беспокоит? Я не могу поверить, что это может его беспокоить.

— А кого это *не* беспокоит? Здесь? — Он вздрогнул и махнул рукой, что могло означать Кассель, Гессен или любое другое германское государство. — *Вы* вышли бы за меня замуж? Думаете, ваша семья позволила бы?

Тут Августа все же рассмеялась:

— Замуж? — Если это и было предложение, то не первое для нее, но точно самое неожиданное, и — если только Куммель ждал ответа — его легче всего было отклонить.

— Я не хотел вас обидеть, — сказал он, — только не вас. — Он снова потряс головой. — Для Дресслеров это важно. Я их знаю. Таких людей. Мне приходилось их встречать. Как только они выяснят, они вышвырнут меня. Так какой смысл мне возвращаться в Берлин? Я поеду дальше. — Он криво улыбнулся. — Есть ведь и другие миры.

— Но ты думаешь, что профессор скажет Дресслерам? С чего бы ему так поступать, если ты этого не хочешь? Если я этого не хочу?

— Потому что это все равно произойдет! — Он подчеркнул последние слова. — Так обстоят дела. Но вы очень добры, фрейлейн. Вы хороший человек. И не только по отношению ко мне. — Он отвел глаза. — Я восхищаюсь вами. Вот почему я не смог просто оставить письмо. Я должен был вас увидеть. — Он поднял глаза, но смотрел мимо нее.

— Но что ты будешь делать? Куда ты пойдешь? — Она почему-то запинаясь. — У тебя есть семья?

Глаза их встретились. И в первое мгновение она была рада, что свеча потухла, прервав эту сцену. Его пристальный взгляд пронзил ее. *Потерял все*, вспомнила она, *потерял все*.

— Ты не можешь уйти, — пробормотала она, прежде чем он смог вымолвить слово в наступившей темноте, такой же черной, как сердце людоеда. — Ты не можешь исчезнуть. Я не позволю тебе. Останься. Мы поговорим. Мне нужно поговорить с тобой. Не о тебе. Обо мне тоже — о том, почему я привезла сюда профессора...

Она продолжала говорить, но, казалось, комната наступала на нее, и ее вдруг увлекло куда-то в пустоту. Она попыталась вскрикнуть, скорее от облегчения, чем от несогласия, но увидела прямо перед собой его лицо и почувствовала на спине его руки.

Поцелуй был страстным, но еще большее возбуждение она почувствовала, когда прижалась к его загорелой шее, и руки ее скользнули по его плечам. Без разговоров, без слов. Так лучше. Так действовал принц. Дрожащая, она превращалась из камня в живого человека. Но он обнимал ее одной рукой, и когда ее рука скользнула по его руке ниже, она поняла, что он держал ручку чемодана.

— Нет! — взмолилась она, пытаясь разомкнуть его пальцы. — Нет, нет!

Она целовала его шею, по которой пробежал озноб, за ухом, подбородок. Язык ее скользнул по его шее. Но он не отпустил ручку. В темноте каждый звук стал отчетливее. Еще один товарный поезд пронесся в направлении Геттингена, и она услышала мычание животных, сменившееся зловещим сухим щелканьем, которое периодически беспокоило ее с тех пор как они покинули Гарц.

— Скажи мне, — услышала она его голос, — скажи: почему ты привезла сюда старика? Что ты хочешь от него?

— Это безрассудство с моей стороны, — она обеими руками ухватила за его сюртук. *Самый дорогой человек в моей жизни...* — Едва ли я самой себе могу сказать. Это только мои мысли, то, о чем я догадывалась в течение долгого времени. Я не знаю. Правда ли это, но у меня есть ощущение, что это правда.

— Скажи.

И тогда она поняла, что пора. Ей нужно было сказать это, отчасти потому что она знала, что не удержит этого человека, и он уйдет; отчасти для того, чтобы заставить его остаться. Но как только эти слова прозвучали, в тишине комнаты особенно громко, рука его ее отпустила.

Он пересек комнату и открыл дверь в освещенный коридор, а она еще раз прошептала слова, которые как будто могли ответить ей или успокоить:

— Я думаю, что он мой отец.

Глава двадцатая

Всю следующую неделю дворец осаждали посланцы с восточных рубежей, изрядно потрепанные и грязные. Войска императора готовились к вторжению, но он еще не давал к тому команды, ожидая ответа принцессы на ультиматум с предложением о женитьбе. Она медлила с ответом, в то время как приготовления к свадьбе с отцом ее детей, а также к двойной коронации были ускорены.

Принц изо дня в день тщательно следил за подготовкой воинов Розового королевства, поражая генералов своим интуитивным пониманием законов стратегии. Каждый вечер он возвращался к невесте и детям, предаваясь радостям семейной жизни. Но для полного счастья ему было необходимо, чтобы приехала мать. Он даже временами посматривал на запад, откуда она должна была появиться, вернуться к нему, в свой истинный дом.

— Она несомненно скоро приедет, — сказал принц в разговоре с мажордомом в то утро, когда истек срок действия императорского ультиматума. — Ты ведь послал за ней карету?

— Да, ваше величество. И головой ручаюсь за возницу. Но мы не можем больше откладывать. Возможно, ваша матушка успеет хотя бы на коронацию.

Тем солнечным утром, придя к принцессе, принц нашел ее уже в свадебном наряде. Дети были наряжены в бархатные темно-красные костюмчики, они даже прихватили с собой куклу, одетую в синий камзол. Здесь же принца ждали его парик и меч. Поцеловав детей, он велел им отправляться в главный зал, где должна была состояться церемония. Но когда одевался к выходу, он заметил, что хотя принцесса улыбается, в ее глазах сквозит тревога.

Ради одних этих глаз ему стоило сюда вернуться. Сияющие, обрамленные густыми ресницами, они делали ее красоту столь совершенной, что он даже порадовался тому, что впервые увидел ее спящей и что все ее очарование открывал для себя постепенно. Теперь она сидела у высокого окна, выходившего на запад. Он подошел, опустился на колени и взял ее тонкую руку в свои.

— Что такое? — прошептал он. — Скажи, что тебя тревожит? То, что сразу после торжества я иду воевать? Ты сомневаешься, что мы победим? Но ведь правда на нашей стороне, а это главное.

Все еще глядя в окно, она крепче сжала его руки.

— Наверное, это глупо, но я думаю о последнем празднике, который здесь так бурно праздновали. Мое рождение. При мне так много о нем вспоминали, так подробно рассказывали о каждой мелочи, — а еще о том, каким он был пышным и как ужасно закончился... Мне даже стало казаться, будто я сама помню каждое мгновение, будто я тоже помню появление припозднившейся мрачной гостьи, которую спустя годы мельком видела на чердаке...

Он коснулся ее щеки, притянул к себе ее голову и нежно поцеловал в губы. Теперь он понимал, почему она настаивала, чтобы праздник был коротким и скромным, почему коронация должна была пройти в присутствии только главных чиновников королевства. Он еще раз поцеловал ее, и она ответила на поцелуй.

— Идем, — сказал он, поднимаясь. — На этот раз все будет иначе.

Спустя час, уже в королевских венцах, супруги принимали поздравления от многочисленной дворцовой челяди, от воинов, готовых в поход, и всех тех, кто прибыл из прилежащих городов и деревень. Во внутреннем дворе и на террасах было так много народу, что им пришлось обойти дворец, чтобы все желающие смогли их увидеть.

Новый король улыбался и махал рукой, когда взгляд его привлекла восточная дорога, по которой за последние дни проскакало так много посланцев. От рощицы ехала карета, запряженная двумя серыми меринами. Шедший рядом мажордом отвел принца — теперь уже короля — в сторону.

— Это карета, которую я посылал за вашей матерью, — сказал он. — И лошади те же. Я не могу ошибиться. Но едут они не с той стороны...

Король вместе с супругой подошел поближе к восточным воротам. Толпа перед ними расступилась.

Когда карета была уже у ворот, все обернулись, чтобы поскорее увидеть неожиданного гостя. Двое часовых подошли к вознице, а третий открыл дверцу. Все замерли в ожидании, и наконец из нее выбрался один-единственный пассажир.

— О, прошу тебя, скажи мне, — едва слышно прошептала молодая королева, обращаясь к мужу, — скажи, что *она* — не твоя мать!

Но принц ее не слышал. Он устремился вперед, навстречу женщине, которой был обязан всем, но прежде всего — своей жизнью.

Десять дней спустя

Глава двадцать первая

После обеда с семейством Штенцель в их доме на Бельвюштрассе Дортхен предложила вернуться домой пешком через Тиргартен. Сначала Августа отказалась. Она обещала Якобу, что не оставит его больше, чем на два часа. Однако Дортхен проявила решимость. Она напомнила дочери, что у постели Гримма дежурят Рудольф и Гизела, которые собираются остаться там до вечера, контролируя поток друзей, почитателей, коллег по университету и помощников в работе над «Словарем». К тому же Августе необходим свежий воздух: с тех пор как они вернулись из Гессена, она лишь трижды выходила на улицу.

— Твой дядя никуда не денется, — заверила Дортхен, когда они присоединились к большой толпе гуляющих. — Не думаю, что он решится выйти из дома. — А когда Августа бросила на нее огорченный взгляд, Дортхен не удержалась и проворчала: — Ты ведь тоже слышала, что сказал врач! Он хоть и стар, но крепок, просто измотан. Несколько дней в постели — и он вернется за свой стол и снова станет по пятнадцать часов в сутки «колоть дрова». — И словно пожалев о сказанном, совсем тихо добавила: — Как в старые добрые времена.

Они медленно шли по парку к центру города, не теряя из виду купол Дворца,⁵ но выбирая узкие тропинки, чтобы не встречаться с группками студентов и девушками-цветочницами. Повсюду были солдаты в форме, а в осеннем воздухе ясно слышались звуки военного оркестра, игравшего на деревянном помосте у пивной. В отличие от Якоба, Дортхен нисколько не возмущало то, что Берлин превратился в казарменный город, в котором приходилось ходить с оглядкой: того и гляди невзначай палашом по ноге заедут. Недаром Бонапарт утверждал, что «Пруссия родилась из пушечного ядра». Но зато это *наши* солдаты, думала она, когда Якоб в который раз начинал возмущаться.

Августу мало интересовало то, что она видела вокруг. Лишь раз ее внимание привлекли грибы, пробивавшиеся сквозь песчаную почву такими стройными рядами, словно они собирались маршировать на плацу. И еще она улыбнулась при виде маленьких такс и их гибких длинных туловищ на коротких лапках. Мыслями она была в Гессене, в который раз укоряя себя за то, что заставила Якоба перейти пределы физических возможностей.

Дортхен давно уже бросила попытки ее разубедить. Чрезвычайные ситуации влияли на них по-разному: Дортхен становилась раздражительной, Августа была склонна все драматизировать. Даже в лучшие времена девочка жила словно вопреки собственному характеру — и едва ли она упрощала себе задачу, собираясь выйти замуж после того, как встретит любовь, а не ради того, чтобы этой любви добиться. Поездка с Якобом на запад как будто не требовала больших усилий. И в том, что вслед за извечной простудой, у него началось воспаление печени, вряд ли было повинно это неспешное путешествие. Однако то,

⁵ Берлинский Городской дворец (*Berliner Stadtschloss*), главная резиденция бранденбургских курфюрстов.

что дочь так сильно опасалась, что Якоб умрет, могло означать, что за простыми родственными чувствами кроется что-то еще.

Когда в последний раз сидела у постели Вилли, она была очень внимательна и заботлива, а когда он умер, горевала ничуть не меньше, чем все его братья. Но она не была так *поглощена* его болезнью, как сейчас. Дортхен знала, что строить из себя балморальскую вдову⁶ у светских дам так же модно, как пить уксус, который придает лицу интересную бледность. Герман же был убежден, что Августе просто нечем заняться. Он-то и предложил взять ее к Штенцелям, чтобы прервать это затянувшееся бдение у постели больного. Но два глотка бренди и кусочек копченого гуся настроения Августы ничуть не изменили.

На свежем воздухе у Дортхен разыгрывался аппетит. У канала она купила горячую сосиску с чесноком, и пока она ела, Августа стояла в стороне, глядя, как двое мужчин в высоких сапогах вытаскивают из солоноватой воды полные ведра угрей. Хотя до сумерек было еще далеко, небо было затянуто облачной пеленой, сквозь которую лишь кое-где проглядывала его синь.

Молчание начало раздражать Дортхен.

— Уже совсем скоро, — заметила она немного громче, чем следовало, — начнем строить планы на Рождество.

— Рождество. Да, конечно.

— Возможно, к тому времени Гизела нас чем-то порадует.

Она сказала это только затем, чтобы вызвать у нее хоть какую-то реакцию, ведь Августу всегда возмущала, как она это называла, «одержжимость» браком и детьми. Но та лишь опустила голову, и они в молчании двинулись дальше. Дортхен не стала больше с ней заговаривать. Гюстхен сама возьмет себя в руки. Обычно так всегда и бывало. И все пойдет по-прежнему. Возможно, им придется поселиться в домике поменьше, когда Якоб в конце концов уйдет туда, где его уже поджидают младшие братья и сестра. Правда, Дортхен иногда думала, что они с Якобом нужны друг другу. Ей трудно было себе представить жизнь без человека, которого знала шестьдесят лет.

На выходе из Тиргартена внимание ее привлек худощавый мужчин, переходивший улицу за уличным клоуном, который разыгрывал представление с двумя деревянными собачками-марионетками перед восторженной, хоть и по большей части взрослой, аудиторией.

— Вон там! — Она схватила Августу за рукав. — Это наш слуга! Он переходит дорогу между экипажами, видишь? Уверена, это он!

Сначала Августа не поняла, почему мать так всполошилась.

— Разуй глаза! — настаивала Дортхен. — Вон он, с коротко стриженными волосами. Наш Летучий Голландец!

На какое-то мгновение рука дочери ожила, но почти сразу вновь обмякла.

— Нет, мама, успокойся. Тот человек выше и шире в плечах.

Голос ее звучал почти обиженно. Дортхен убрала руку. Это была уже третья ложная тревога за неделю. Гизела говорила ей, что Августа все время вспоминает молодого Куммеля, потому что очень хочет надрать ему уши за то, что он оставил их в Гессене.

Возможно, так оно и было. Ей пришлось как-то объяснить факт его исчезновения Дресслерам, когда те вернулись из Италии. Один бог знает, что пришло в голову парню и почему он отказался от недельного заработка только чтобы избежать поездки в Берлин. Какая-то бессмыслица. А предположение, что Якоб что-то имел против Куммеля из-за того, что тот еврей, само по себе нелепо. До самого своего исчезновения Куммель был надежным человеком. Дортхен действительно собиралась поговорить с Дресслерами о том, чтобы и дальше время от времени пользоваться его услугами. И теперь она была смущена.

⁶ Намек на королеву Викторию (1819–1901), которая отличалась показной приверженностью к благочестию; Балморал — ее шотландская резиденция.

Внезапно почувствовав, что задыхается, Дортхен остановилась.

— Гюстхен! — прислонясь к афишному столбу, позвала она дочь, которая прошла вперед, чтобы поближе взглянуть на клоуна. — Не могла бы ты кликнуть экипаж?

Августа обернулась и переменялась в лице.

— О, я в порядке, — заверила Дортхен, прижав руку к груди и улыбаясь. — Небольшая одышка, но это пройдет.

Она никогда бы в том не призналась, ведь ей уже было за семьдесят, но и в этом возрасте ей тоже хотелось внимания — или по крайней мере такой же заботы, какую в ее семействе было принято оказывать пожилым мужчинам и совсем молодым женщинам.

Августа отправилась искать экипаж, а Дортхен смотрела на ее красивый профиль, следила за выражением ее лица и спрашивала себя, как ее дочь перенесет потерю дяди. Правда, тревога матери не была бескорыстной. Беспокойство о дочери спасало Дортхен от мыслей о том, как на нее саму повлияет смерть Якоба, ведь эта потеря сопоставима с потерей Вилли.

— Все кончено. Якоб умер.

— Все прошло спокойно, благодарение Богу. Он ушел во сне.

— Бедный Якоб. Бедное дитя...

Он слышал голоса братьев в гостиной, когда выскользнул из спальни и спустился в кабинет. Он не мог больше оставаться с Дортхен и Вилли в их горе. Ему нужно было посидеть за письменным столом: провести несколько минут в одиночестве после двенадцати часов бодрствования у кровати, после того, как он делал искусственное дыхание, пытаясь вместе с воздухом вдохнуть в маленький ротик жизнь. Но дитя не вернулось, и его бдение кончилось. Ребенок не дожил даже до своего первого Рождества. Якобу нужно было помолиться и собраться с силами, чтобы примириться с самой жестокой из смертей.

Холодной, но твердой рукой ему удалось зажечь свечу на полке. Он подошел к окну, задернул занавески и повернулся к столу. Но вместо того чтобы сесть, закрыл глаза, положил руки на спинку кресла и попытался ни о чем не думать. И впервые за время жизни с братом он не мог это сделать.

Восемь счастливых месяцев он смотрел на этого ребенка почти как на собственного. Якоб, маленький Якоб! Между ними было даже физическое сходство. Дортхен говорила: те же пронзительные глаза, та же улыбка, та же линия носа. Но сейчас, умерев, ребенок принадлежал только Вилли. О, как — как — мог человек, чья жизнь висела на тоненькой ниточке, быть отцом цветущего ребенка?!

Якоб достал «Семейную книгу», но не смог раскрыть ее на странице, где была запись о рождении ребенка — восемь месяцев и двенадцать дней назад, меньше, чем ему потребовалось, чтобы избавиться от любви к его матери. Щека его дернулась. Он дышал неровно, со всхлипами, он задыхался в темной непрогретой комнате, чувствуя себя большим, сильным, до нелепого здоровым. И в тот момент, когда он чуть было не швырнул книгу в стену, вдруг скрипнула дверь.

Вошла Дортхен. Она держалась за дверную ручку, будто та поддерживала ее, и смотрела куда-то в угол. Затем сделала шаг вперед, не отпуская ручку, и вновь остановилась. Наконец она отпустила дверь и та шелкнула, закрываясь. В изнеможении прислонясь к двери, она наконец взглянула на Якоба. Тот тихо отложил книгу и встал.

— Куда? Куда он ушел? — спросила она со странной улыбкой.

Якоб не понял, кого она имела в виду, Вилли или покойного сына. В любом случае у него не было ответа.

— Где он? — спросила она снова, и ее сухие глаза сверкали от ярости. Якобу больно было видеть ее такой: мрачной и румяной, сурово-прекрасной и полной жизни.

Он поразился прозвучавшей в ее голосе тоске, еще более глубокой, чем его собственная. Он никогда не забывал отчаяние собственной матери, когда скончался его отец. И твердо знал, что никогда не позволит себе жениться и стать настолько близким еще одной смертной душе. Его ужасала не столько смерть, сколько необходимость пережить такую

потерю.

— Наша мать, — начал он, пытаясь ее утешить, — наша мать тоже потеряла первого ребенка. А затем родила *шестерых*, и все они выжили...

Дортхен все это уже знала. Может, сам Якоб ей и сказал, он этого не помнил. Якоб отвел взгляд от ее безумных голодных глаз и посмотрел на цветок гелиотропа, который Дортхен подарила ему два года назад, перед своей помолвкой. Его шиповатые пурпурные цветки казались невыносимо жесткими и холодными в свете единственной свечи. Должно быть, Дортхен тоже сочла их невыносимыми, потому что, оторвавшись от двери, она вдруг с силой смахнула горшок с цветком на плиточный пол. Якоб был почти готов к тому, что она его ударит, и попытался схватить ее за руку. Но она вернулась к двери и вновь к ней прислонилась, а потом быстро заморгала и прикусила губу, но так и не заплакала. Якоб молился, чтобы она наконец разрыдалась. Ей нужно облегчить свою боль. Она бы прошла через это и провела его за собой, раньше, чем пробьют часы. И они бы двинулись дальше, туда, где оба могли обрести покой.

— Якоб, Якоб... — бормотала она, упершись взглядом в кучку земли на полу и разметанные от удара листья и черепки. — Почему он ушел? О, Якоб, мой Якоб... — Не поднимая глаз, она протянула руки, и он наконец подошел и обнял ее.

— Якоб, — снова прошептала она, когда ее руки сомкнулись у него на спине. *Плачь*, молча прикрикнул он, *ну, плачь же!* Но вместо того чтоб зарыдать у него на груди, она одеревенело прижималась к нему, и ее била дрожь. Он чувствовал ее горячее дыхание на шее, горле, щеках. Он замер, крепко ее обнимая. Она пахла как-то иначе. Каким-то летним ароматом. Может, яблок? *Я люблю тебя* — это все, что мог он ей сказать в ту минуту — и тут же в памяти всплыла строчка из «*Fundvogel*» («Птенец»), которая всегда заставляла вспомнить ее улыбающееся лицо: «Ни сейчас, ни когда-либо я тебя не оставлю».

Он молча повернул голову, и его щека коснулась ее щеки. Теперь он видел все свои книги, но не мог найти в них ни единого слова, которое было бы уместно для такой минуты.

Когда оба откинули назад головы и потерялись носами, губы их встретились...

День за днем черты Куммеля становились все более смутными в памяти Августы. Не исключено, что это именно он переходил улицу возле Бранденбургских ворот. К тому же мать считала, что еще дважды видела его раньше.

После обеда в пятницу Августа вышла из дома, но на могилу Вильгельма в Шёнеберг, как сказала матери, не пошла. Вместо этого она двинулась на восток от ворот, через Монбизу и дальше, в бедняцкий район Шойненфиртель. Гейне как-то сказал, что Берлин — не город, а место, где люди собираются вместе. Если им это удастся, подумала Августа.

Новая синагога на Орианиенбургерштрассе казалась стоящей не на своем месте, ведь здесь бродили толпы проституток, студентов и ломбардов. Тут и там Августа замечала небритых отцов семейств, открывавших окна, чтобы покурить, поскольку комнаты, где жили по несколько семей в каждой, были переполнены, и люди и без дыма задыхались — от тесноты. Эти лачуги ее просто поражали, она с трудом могла поверить в то, что там живут люди, с трудом верила, что в таких жилищах вообще можно жить.

В Гарце и Гессене Августа ужасно скучала по городу. Для нее он был надежным приютом, куда более реальным, чем какой-нибудь сказочный мир. Но теперь — даже не брать в расчет эти жалкие лачуги — город представлялся таким уязвимым, временным прибежищем после огромных лесных пространств, что дышали вечностью.

Она обратила внимание на нескольких евреев с бородками и в черных шляпах. Но ни один из них не походил на Куммеля. И почему они должны быть на него похожи? Если бы он сам не сказал, она никогда бы не подумала, что он «израильтянин», как это принято называть в ее кругу. Гримм утверждал, что догадывался об этом, хотя и не вменял ему в вину его обман.

— Я только заметил ему, что некоторые детали в его истории выглядят довольно странно, — сетовал он на пути домой из Касселя. — Признаюсь, я догадался, что он не

христианин, но нынче это ничего не значит.

— Зачем тогда было ему говорить об этом? — спросила Августа. — И почему это так важно? Для него, для тебя, для кого бы то ни было.

— Для меня это как раз неважно. — Его задумчивый взгляд остановился на ней, и она опустила голову, не желая проявлять слишком явный интерес к этому вопросу.

— Потому что это не имеет значения, не так ли? Особенно сейчас. Люди обращаются в другую веру, и никому нет дела до того, кем они были прежде. Правда, он сказал, что с тех пор, как ему исполнилось десять, он не может перестать быть евреем. Почему он так говорит?

Гримм наблюдал за пролетающую за окном местность. Это был Ганновер, откуда его так бесславно выслали.

— Для некоторых иудаизм — вопрос принадлежности к нации, не к религии. Крещеный еврей все равно остается евреем — и какой в этой перемене смысл, ведь ему приходится притворяться тем, кем он не является. Наш слуга, возможно, столкнулся с такими предрассудками. Не исключено, что и с преследованием.

— Он сказал, что в десять лет все потерял.

Гримм вновь посмотрел на нее. Августа ничего не могла прочесть в его глазах. Точнее, не могла определиться, почему они смотрят на нее с такой грустью.

— Его семья, возможно, и не была немецкой, — сказал он. — Не исключено, что они бежали сюда от погромов на Востоке.

— Но разве в Германии евреи не страдали? Не так тяжело, но такое все же случалось...

Он отвернулся.

— Как ты сказала? Не так тяжело?

Это была опасная тема. Августа знала, что некоторые ярые сторонники объединения — кабацкие подстрекатели, по выражению неколебимо либерального Гримма, — не видели места для евреев в любой форме немецкого национального государства. Она помнила, как несколько лет назад один молодой пастор говорил, что евреи — это паразитическое растение на здоровом немецком древе, высасывающее из этого древа все соки. Она, конечно, знала, что таким, как Куммель не только за границей — в Германии тоже приходилось не сладко. И понимала тот печально-немногословный взгляд, которым наградил ее дядя.

Вернувшись домой, она обрадовалась, услышав, что из его спальни доносится веселый смех. Обычно его беседы с посетителями проходили в довольно суровой обстановке. Ведь даже с теми, кто помогал ему в работе над «Словарем», Якоб обсуждал так называемую реальную политику, проводимую ненавистным «министром конфликтов» Бисмарком: Якоб резко осуждал его презрение к миру и готовность прийти к единству путем военной силы. Бонапарт и Бисмарк, думала она, — две кровавые вехи на дядином долгом жизненном пути.

Она поискала конверт в прихожей и на комод, но кассельские фотографии, видимо, так и не пришли. Если их не будет и в субботу, она отправит туда гневную телеграмму.

Голоса, слышавшиеся в коридоре, показались ей знакомыми, это были голоса профессоров Берлинской академии наук. Августа, воспользовавшись моментом и оставив на кухонном столе зонтик, проскользнула в спальню матери. Захлопнув за собой дверь, она устремилась к шкафу, где хранилась старая одежда. Шкаф был забит битком: в этой семье было не принято выбрасывать одежду.

Взгляд Августы упал на фотографию в темной рамке, которая лежала под стопкой одежды. Это был Вильгельм, одетый в сюртук, который затем перешел к Куммелю. Она не стала ее доставать. Сидя на корточках и роясь в стопке аккуратно сложенных блузок, она вздрогнула, услышав, как поезд медленно подходит к Потсдам ер плац.

Я думаю, что он мой отец... Каждый раз, когда это случалось, она вспоминала грохот товарных поездов в Касселе, когда Куммель удерживал ее, заставляя сказать невозможное. Как только она позволила джинну вылететь из бутылки, ей уже не требовались доказательства. *Мой отец... Мой отец... Мой отец...* А потом Куммель ушел.

Она полагала, что точно так же, как для нее не имела ни малейшего значения

национальность Куммеля, для него не имел значение вопрос о ее родителях. Для нее это было очевидным. Но он спросил. И в последнюю ночь в Гессене, засыпая, когда на губах еще оставался вкус поцелуя ее принца, она не могла бы поверить, что больше его не увидит. И сейчас, в глубине души, она по-прежнему в это не верила. Если это на самом деле *ее принц*, ему ничего не остается, кроме как вернуться.

Наконец она обнаружила то, что искала. Сердце ее забилося быстрее, когда она вытащила из самого низа стопки какую-то одежды. Вернувшись в свою комнату, она уселась на край кровати. Она думала об этом с тех пор, как Куммель упомянул, что дядя смотрел на шали в Марбурге. Но это была не просто шаль.

Августа знала, что французский стиль был в моде незадолго до ее рождения. Шаль была мрачноватой: черный фон, по краю — зеленые и красные цветы. Правда, ткань была очень красива и явно недешева. Мама никогда бы не выбрала такую для себя, но хранила эту шаль как подарок. Августа помнила, мама долго ее носила, когда девочка была еще совсем маленькой. Так долго, что ребенком Августа считала, что любимый цвет матери — черный.

Мы ткем, мы ткем... — всплыло в ее голове. Гейне, еще один «израильтянин». В Гессене дядя прочел ей наизусть несколько строк из Гейне, которого очень любил.

Она расправила шаль на стеганом покрывале, осторожно подняла и набросила на плечи. А когда обернулась, чтобы посмотреть на себя в зеркало, то сперва вздрогнула от узнавания и улыбнулась, а после разразилась слезами.

Глава двадцать вторая

На закате король должен был выступить во главе войска. Каждый оставшийся до этого миг был драгоценен. Он никогда не был так счастлив: жена, мать и дети под одной крышей — исполнение всех желаний его и — он это чувствовал — матери.

— Если бы не она, — сказал он жене, когда они раздевались в спальне, чтобы предаться супружеским утехам, — я бы никогда не пришел к тебе. Я бы не узнал о дворце. Она отправила меня сюда искать тебя, заставила поверить, что я смогу тебя покорить.

— Я знаю, — отвечала королева, но вид у нее был столь же обеспокоенный, сколь и счастливый.

Она сидела на краю кровати, выплетая из волос атласную ленту, упавшую на обнаженное левое плечо. Он подошел к ней сзади и поцеловал в шею, затем повернул к себе лицом. Она улыбалась, но глаза ее были полны слез.

— Поверь, — прошептал он, обнимая ее. — Тебе нечего бояться. Этот праздник не имеет ничего общего с тем, прошлым. Ничего плохого не случится, ни здесь, ни на войне, куда я ухожу. Нас ждет только радость...

Они любили друг друга в рыжеватых лучах заходящего солнца, которые пробивались через высокие окна, выходявшие на запад. Он так увлекся, что только когда они разомкнули объятия вдруг понял, что она была так же холодна с ним, как в тот раз, на чердаке. И пока он одевался и пристегивал меч, она лежала на спине, будто снова отравленная тем же ядом. Если бы она то и дело не смахивала слезы, он бы подошел послушать, дышит ли она.

Во внутреннем дворе раздавались голоса: близнецы радостно хихикали и визжали. Он выглянул и увидел, что мать сидит в украшенном металлической ковкой кресле, в уголке, еще освещенном солнцем. На лице у нее была его маска, и она смешно размахивала руками, как монстр. Один за другим дети подбегали к ней, припадая к ее пышной груди.

Глаза его наполнились слезами. Как давно он не видел ее радостной! Он сделает все, чтобы она больше никогда не страдала.

— Иди сюда, посмотри, — позвал он через плечо. — Словно они всегда ее знали! Но королева не пошевелилась, словно она не говорила с его матерью и не целовала ее, когда они впервые встретились.

— Скажи мне, что не так? — спросил он, подойдя. — Ты можешь рассказать?

Он коснулся ее запястья, которое оказалось таким холодным и безжизненным, что он

невольно отдернул руку.

— Я боюсь ее... — заговорила она, зарывшись головой в подушку. — У меня такое ощущение, будто я знаю ее очень давно...

— Но как? Откуда? Как это может быть?

Она лишь покачала головой, отворачиваясь, то ли потому, что не знала, то ли потому, что не осмеливалась сказать. Он вдруг почувствовал себя уязвленным:

— Дети ее любят. Почему ты не можешь полюбить ее ради меня?

Она замерла, приподняв от подушки голову:

— Но где же ее остальные дети? Ты сказал, их было пять. Где *они*?

— Она говорит, что оставила их на нянек. Ты *хочешь*, чтобы их сюда привезли?

Сам-то он этого не хотел, хотя и ожидал, что так случится. Именно то, что мать приехала одна, ничем не обремененная, особенно радовало его.

Королева посмотрела на него, не обвиняя, но словно попрекая в сговоре с матерью. Наконец голова ее снова упала на подушку, и она закрыла глаза. Крики детей стали оживленней.

В растерянности он повторил то, что говорил всегда:

— Если бы не она, мы бы никогда не встретились.

— *Но почему она этого хотела?*

Прежде чем открыл дверь, он заметил, что она дрожит. Глаза ее были по-прежнему закрыты.

— Поспи, — сказал он. — Ты устала. Когда ты проснешься, ты согласишься на вещи иначе. А когда я вернусь, мы уже не расстанемся. Все мы.

Он вышел, не поцеловав ее, и напрасно ждал на ступеньках главной лестницы, что она его позовет. Прошел через темный парадный зал, где на комоды еще стояли одиннадцать шкапулок со столовыми приборами.

Король поманил мажордома, и тот двинулся следом.

— Присмотрите за моей женой, — сказал он. — Она сама не своя, полна мрачных предчувствий. Полагаю, она сегодня и не выйдет из спальни.

— Ваше слово — закон, ваше величество. Но как регент она должна в ваше отсутствие управлять делами государства.

Поступь короля была все такой же ровной, когда он подошел к выходу из дворца. Он даже не взглянул на мажордома, и тот повторил:

— Ваше величество, дела государства нельзя оставлять без попечения.

— Тогда я назначаю регентом мою мать.

— Вашу мать?

Его коня вывели из конюшни. Грум стоял рядом, чтобы помочь ему сесть в седло.

— Да, мою мать, — спокойно повторил король, прежде чем пустить коня вскачь на восток, где ждала его армия. — И пусть ее слово будет для всех законом.

Глава двадцать третья

В субботу утром Гримм проснулся поздно с неприятным ощущением, будто кто-то только что коснулся его лица. Кожа на скуле ощущала прохладу и была влажной, словно от поцелуя. Он крепче зажмурился, так как справа на него падал яркий свет из окна, у которого только что раздвинули шторы. Прищурившись, он приподнялся на локтях и сразу ощутил приступ тошноты.

— Доброе утро, дядя, — раздался голос Августы. — Ты чуть было не проснулся час назад. Дергался, гримасничал. Ты помнишь, что тебе снилось?

Какой еще сон? Она что, слепая? Неужели она не видит, что он весь в грязи? Комья земли на глазах, на губах... Наконец он совсем проснулся, раздраженный, что не один. Ему неловко, когда за ним наблюдают. Но ничто не может заставить исчезнуть Гизелу, Дортхен, Германа, Рудольфа и — бессменного часового — Августу. Он потерял счет тому, сколько раз

просыпался (чаще всего от причудливых снов о том, как скачет верхом, сначала во дворец, потом на войну) и всегда обнаруживал ее в кресле у шифоньера, свою сиделку, свою заботливую мамашу, готовую ночь напролет рассказывать сказки приболевшему дитяти. Иногда ему действительно хотелось, чтобы она рассказала сказку. Чтобы она вообще что-нибудь рассказала вместо того, чтобы бросать на него эти тревожные виноватые взгляды.

Надеясь, что она не бросится помогать, высвободил ноги из-под одеял и опустил на холодные доски пола. Это потребовало усилий, но в присутствии Августы он не позволил себе гримасу боли. Провел рукой по лицу, потом откинул назад волосы. Они оказались неожиданно коротки. Должно быть, Дортхен подстригла его не так давно. Он помнил, что она несколько раз его брила, но чтобы стригла — не помнил.

— Ты не принесешь воды? — попросил он Августу, когда дошел до халата. Рот был словно забит землей: лесной почвой — судя по привкусу, в ней явно присутствовали сосновые иглы. — Сегодня я сам побреюсь. И принеси какую-нибудь одежду.

— Одежду, дядя? Не слишком ли скоро?

Волосы у него на затылке поднялись.

— Я не собираюсь заниматься гимнастикой! Хочу лишь надеть рубаху и брюки. Я не могу больше валяться в постели. И, пожалуйста, Гюстхен, сегодня никаких посетителей. Это уже непереносимо. Вот если мое состояние ухудшится, тогда пускай выстраиваются в очередь, если захотят. — Заметив кипу берлинских газет и журналов, которые горничная собирала с тех пор, как он уехал в Гарц, добавил: — Я немного читаю. Давно не читал.

Он встал на ноги, не держась за прикроватный столик. Кивнул на груды корректур от издателей:

— Немного чтения не повредит. А тебе тоже следует отправиться по своим делам, милая. Ты слишком много времени мне посвятила.

Как ни странно, она, не протестуя, вышла. А минут через десять вошла Дортхен, которая принесла воду для умывания, а также белье, рубаху и поднос с кофе и булочками. За свое краткое посещение она не сказала ни слова, боясь ему помешать своей болтовней. Но говорить им не было нужды. Улыбки, которыми они обменялись, все сказали без слов: о ее беспокойстве; о его решимости избавиться от опеки; о ее удивлении, что он так неисправим; его огромной благодарности за ее заботу.

Его оставили одного почти на все утро. И от чтения отвлекали лишь пение городских птиц и — иногда — гул поездов, подходящих к станции — новым городским воротам с того времени, как пали городские стены.

Среди корректур были греческие сказки, он обещал своему товарищу по Академии наук просмотреть их. Он с удовольствием читал их, сочтя прекрасной альтернативой незамедлительному возвращению к «колке дров». Но чем дольше силился читать, тем менее вероятным ему представлялось его возвращение. Он не мог избавиться от ощущения, что дошел до конца строки, что, как поезд, прибывающий на Потсдамер-плац, совершил очень дальнее путешествие, и теперь снова ехал, только в обратном направлении.

В шестом часу послышался стук в дверь. Он хрипло крикнул:

— Войдите!

Появилась Гюстхен, которая принесла чай со специями и имбирное печенье; под мышкой у нее была небольшая коричневая трубка. Когда она поставила в изножье кровати поднос, Гримм заметил нечто необычное: она была в старой черной шали, которую он когда-то купил Дортхен, — много лет назад, когда та была беременна Августой. Его поразило, что шаль сохранилась. Ведь невестка не надевала ее уже много лет.

Августа не налила чай, хотя принесла две чашки. Вместо этого, улыбаясь, она подошла к окну, где он сидел, держа в руке трубку и постукивая ею по ладони, словно собираясь его ударить. Немного не дойдя до окна, она вытащила из трубки сверток и молча его развернула.

— О! — воскликнул он. — Фотография в Касселе! Ну конечно!

Она держала фотографию слишком далеко, чтобы можно было четко видеть лица, но

он не выразил желания рассмотреть ее ближе. У него во рту снова пересохло, и ему как никогда нужен был чай.

— Ты выглядишь измученным на фотографии, дядя. Прости, что я тебе докучаю.

— Ну что ты! Я рад, что нам есть что вспомнить. Наши хозяева были очень милы. Пошлешь им копию?

Она кивнула, все еще пристально разглядывая фотографию. Шаль свободно свисала с ее правого плеча, рядом с его лицом. На него повеяло запахом имбиря, и во рту стало еще суше. Она указала на высокую фигуру с левого края. Палец ее немного дрожал.

— Он ведь исчез после Касселя, — сказала она, — хотя мама продолжает думать, что видит его на улице.

— Ох-хо-хо. — Опять этот слуга. Гримму показалось, что у нее были виды на молодого Куммеля. Откровенно говоря, ему и прежде это приходило в голову, но он надеялся, что она не скомпрометирует себя. Но он не хотел говорить теперь о Куммеле, даже если бы у него и не кружилась голова. Да, трудно понять, почему тот решил смыться. Может, только ради того, чтобы избежать запутанной ситуации? Подобное случается не так уж редко — и кто он такой, чтобы первым бросить камень? Так ведут себя некоторые мужчины: мужчины, для которых — как неловко попытался Гримм объяснить Августе перед отъездом из Гессена — брак не представлял собой никакой ценности. Чай, подумал он, слабо указывая на поднос.

— Ты никогда его не вспоминаешь? — спросила она, не обратив никакого внимания на его жест.

Изображения на фото немного расплывались. В груди жгло, сердце как будто стало медленнее биться, дыхание стало прерывистым. Дорогой Вилли, думал он, должно быть, почти всегда так себя чувствовал и к этому привык. Якоб подумал, не сказать ли ей, что не так давно он *завидовал* исчезнувшему Куммелю: молодому, свободному и ничем не обремененному. (*Чаю. Мне нужно чаю.*)

— О причинах, по которым ему не хотелось быть евреем? — быстро спросила она, будто вопрос только что пришел ей в голову. — Что могло с ним случиться, как ты думаешь? С ним и его семьей?

Гримм знал, что она не даст ему увильнуть от ответа. Ему придется говорить. Удовлетворить ее любопытство, выпить чаю, и, может быть, он снова ощутит себя далеко отсюда, верхом на коне, скачущим на войну.

— Да что тут думать? — проскрипел он. — Сколько ему сейчас? Двадцать пять? То есть надо обратиться к 1848 году, году европейских революций. Ну да, в те времена случалось всякое.

— Всякое? — либо у нее задрожала рука, либо у него все плыло перед глазами.

— Нападения на еврейские общины. Поджоги. Линчевания. По его акценту можно предположить, что он из Баден-Бадена, — там случались жестокие вещи...

Все это казалось ему таким далеким: едва ли он знал другой мир, кроме того, который создавал. Мир поездов, не лошадей; мир каменных городов, не лесов. Мир, до пределов которого он дошел и в котором не оставил своего сердца, чтобы было на что оглянуться. «Мир должен стать сказочным, — писал Новалис во времена Бонапарта. — Так мы вновь обретем первоначальный смысл». Возможно, это была единственная оставшаяся Гримму точка зрения на мир.

Августа опустила фотографию, и запах имбиря одолел его, охватывая, как языки пламени.

— Чаю, Гюстхен, пожалуйста, — задыхаясь, с закрытыми глазами произнес он. — Мне надо выпить чего-нибудь.

Она отошла, но голова его продолжала кружиться. Ему пришлось сосредоточить взгляд на ее изящных туфельках, чтобы не выронить чашку. Она держала и свою чашку, но, как будто ждала, чтобы он пригласил ее сесть. Солнце, клонившееся к горизонту, жгло ему спину. Он вытащил диванную подушечку, и она села рядом, но он не хотел больше говорить о Куммеле. Хватит. В голове его роились другие, более яркие образы: сцены битвы, которую

он видел со спины своей лошади, сам вовлеченный в водоворот, рубя мечом направо и налево.

— Эта шаль... — начал он, но голос так оглушительно отдавался у него в голове, что он не мог продолжать. И хотя ему очень хотелось чаю, он не смог поднести к губам чашку.

— Ты ее помнишь? — голос Августы дрогнул.

Он сразу пожалел, что заговорил. Ведь это представляло для нее огромный интерес. Да, он помнил, как бы страстно ни желал забыть. Осень 1831 года, работа в библиотеках: Страсбург, Франкфурт, Швейцария. А тем временем в Геттингене Вилли сильно сдал: астма, сердце, воспаление легких. В университете Вилли дали звание профессора, чтобы обеспечить Дортхен, которая очень скоро могла остаться вдовой. Гримм нашел эту шаль во франкфуртской лавке и отправил домой отдельной посылкой.

— Скажи мне, — голос Августы звенел у него в голове. — Скажи, прошу тебя...

Что она хотела знать? Сказать ей о чем? О нем и Дортхен? *Ни сейчас, ни — когда-либо после я тебя не оставлю...* Он осознал, сколь они близки, и голова его склонилась ей на плечо. Сказать ей... Сейчас, спустя столько времени. А почему бы и нет? Она — его последняя надежда. Лошадь под ним поднялась на дыбы, и он почувствовал себя победителем: в его седле сидела эта молодая чувственная женщина, и он словно выхватил и унес ее из этой резни. Вот как ему бы хотелось путешествовать. На востоке за лесом выиграна битва. Он уже бросил взгляд на тропинку, открывающуюся впереди. *Ни сейчас, ни когда-либо...*

Он услышал, как чашка с грохотом упала на дощатый пол, как тревожно вскрикнула Августа. Вновь он сражался один.

Якоб обнаружил ее там, где и сказала ее мать: на оттоманке возле елки. Гостиная освещалась только свечками на ветках. Она печально посмотрела на него, а затем обратила взор к куче подарков, которые как грибы окружали елку.

Было поздно, и она выглядела измученной. Но он был рад видеть, что она перестала плакать. Когда он опустился на колени, чтобы их лица оказались на одном уровне, она пошевелилась и храбро ему улыбнулась.

— Пора, Гюстхен, — сказал он. — Ты знаешь, мне пора идти.

— Король даже не позволит тебе остаться на Рождество?

— Нет, мой дорогой *птенчик*, даже на Рождество. — Он потянул за темную материю, в которую она была закутана. — Что это на тебе?

— Мама дала. Это ее любимая шаль. Она сказала, ты купил эту шаль для нее во Франкфурте, еще до моего рождения.

Он тихонько опустил руку. Шесть лет — казалось, его собственное время ушло еще стремительнее, чем у этой крошечной девочки. Она закуталась плотнее, голова осталась лежать на подлокотнике оттоманки.

— А куда ты едешь, дядя?

Якобу пришлось наклонить голову, чтобы взглянуть ей в глаза.

— О, есть много мест, кроме Ганновера. Много других Германий — помнишь, я рассказывал?

Она кивнула.

— Ты попытаешься найти королевство, которое выпало из кармана своего государя?

Он улыбнулся, пальцы его пробежали по складкам шали.

— Нет, Гюстхен, я буду искать кое-что получше. Место, где смогу работать и зарабатывать деньги, и куда вы все можете потом приехать, чтобы мы никогда больше не расставались.

— Ты будешь учить студентов?

Якоб сжал губы. По правде говоря, он в это не верил. Ведь были и другие, лучшие способы «колоть дрова». Он не был рожден преподавать; даже восемь часов в неделю в Геттингене были выше его сил. Вместе с теми тридцатью шестью, что он обязан был

посвящать университетской библиотеке, у Гримма оставалось совсем мало времени для настоящей работы.

— Я подумываю составить большую книгу немецких слов, Гюстхен. «Словарь», чтобы люди могли знать, откуда произошли слова и что они означают. Возможно, твой отец мог бы помочь мне — и мы могли бы заниматься этим везде, понимаешь?

Он сморщил нос. Ему было понятно, что она пытается удержаться от слез.

— А если ты уедешь в другие земли? — спросила она. — Туда, где темные леса и сказки, и все добро и зло? Разве мы до тебя доберемся?

— А ты не хотела бы жить там, мое сокровище?

— Нет! — она даже вздрогнула. — Мне было бы страшно.

— В таком случае обещаю тебе держаться подальше от таких земель.

— А если ты случайно попадешь туда — провалишься через дырку в карте?

— Этого не случится. Попасть туда можно только по желанию.

— А злые люди? Если они захотят туда приехать — они *смогут*?

— Ну, — улыбнулся он, — будем молиться, чтобы не смогли. Он поднял руку к ее плечу, слегка сжал его и встал. — Я должен идти, Гюстхен. Король говорит, мне следует уехать до полуночи, и я не хочу сердить его еще больше.

Она обернулась, чтобы посмотреть на него.

— Ты будешь совсем один?

— Нет, нас целых трое. Еще два профессора — помнишь? — Дальманн и Гервинус, они ждут на улице. Мы вместе поедem в Витценхаузен, а затем в Гессен. Это наш настоящий дом, Гюстхен. Ты скоро увидишь его, я уверен. Я покажу тебе, где мы росли, когда были детьми. Все места, всех людей.

— А ты не можешь просто сказать королю, что просишь прощения — от души? Не можешь принести присягу и остаться? — Глаза ее все же наполнились слезами.

Вздыхнув, он вновь опустился на колени. Как объяснить пятилетнему ребенку, что такое нарушение конституционных прав будущим тираном? Какое значение имеет для тирана то, что он делает? «Восемь солдат — большая ценность, чем один университет». Говорили, так сказал Эрнст-Август, сокращая учебные часы. Говорили, что тот совершил уже все мыслимые грехи, за исключением самоубийства. Ни Якоб, ни шесть его товарищей не смогли стерпеть, когда новый король мановением руки отменил старую либеральную конституцию. Они ведь ей присягали, и ни один смертный не мог освободить их от этой присяги. Якоб писал Савиньи, что на карту поставлена честь не только университета, но и всего Ганновера; это дело принципа для всех немцев.

— То, что сделал король, неправильно, — попытался объяснить он. — Совсем неправильно. Он хочет править, не слушая других людей, но у людей есть право обсуждать, советовать, высказываться, объяснять, чего *они* хотят. Вот почему мы, профессора, не будем присягать ему на верность, понимаешь? И он этим удивлен. Профессора обычно говорят то, что хотят услышать короли, — по крайней мере, в немецких землях. Но, Гюстхен, мы — другое дело...

— Вы не злые? — прервала она, уловив, по крайней мере, это различие.

— Совсем нет. Троим из нас и еще четверым — включая твоего отца — придется оставить свою работу, но не страну: мы все делаем то, что мы должны делать. И даже если в Ганновере не все видят вещи в том свете, в котором их видим мы, есть много людей за его пределами, которые помогут и поддержат.

— Мама сказала, ты стал известным. Куда известней, чем раньше, когда писал книги.

Он встал.

— Правда? Она так думает?... Все, мне пора. Гюстхен, дорогая, под елку я положил для тебя подарок. Подумай обо мне, когда будешь его открывать.

Он собрался выйти из комнаты, но она подняла голову:

— Можно я открою его сейчас? Сегодня вечером? Так, чтобы ты видел?

— Нет, это неправильно, понимаешь? Нужно поступать так, как должно.

Она не отводила от него глаз.

— Дядя!..

— Да? — Он был уже у двери. Его ждал экипаж под конвоем драгунов.

— Не ездь в эти земли без карты! — Голос ее сорвался, глаза заблестели в свете свечей. Она хотела от него больше, чем он готов был дать. Ее настойчивость почти раздражала. Нужно было что-то сказать, что-то такое, чтобы она замолчала.

— Клянусь тебе, Гюстхен, раз ты со мной не едешь, я не отправлюсь туда без карты. Ты слишком дорога мне — самый дорогой человек в моей жизни. Я тебе это уже говорил?

Широко открыв глаза, она покачала головой.

— Что ж, вот говорю сейчас. Доброй ночи и с Рождеством! Скоро мы будем вместе. И тогда уже больше не расстанемся. *Ни сейчас, ни когда-либо позже я тебя не оставлю.* Это я обещаю.

В воскресенье вечером мать Августы пошла с Гизелой и Рудольфом в церковь Святого Матфея без особого желания. После случившегося у Якоба удара она в страхе ждала чего-то худшего и боялась оставлять его надолго.

Августа сама настояла, чтобы ее оставили с ним одну. После мессы и долгой прогулки — на этот раз к Моабиту, на север от Тиргартена — она была не против остаться с больным и написать несколько писем. С ней была служанка, а соседи могли явиться по первому зову, если понадобится их помощь.

Когда Августа вышла их проводить, мать вдруг заметила перемену в ее одежде.

— Скажи ради бога, где ты выкопала это старье? — спросила она скорее обиженно, чем удивленно.

Августа плотнее закуталась в шаль.

— Я думала о ней, — улыбнулась она. — Она мне нравится. — Их глаза встретились. — Ты не против?

— Почему я должна быть против? Ты полагаешь, снова будет такая мода?

Августа снова улыбнулась, но мать уже не видела ее улыбки. Внезапно она показалась дочери совсем молодой, такой, какой была, когда рассказывала сказки братьям в Касселе. Впервые Августе показалось странным, что несколько десятков лет назад эта такая приземленная и практичная женщина тратила время на нелепые повествования в летнем домике.

— Он уже проснулся, — сказала мать, натягивая перчатки. — Может, разумнее было бы не давать ему спать, пока не придет врач.

— Не давать ему спать? Но как?

— Рудольф дал ему блокнот и карандаш. С ним можно общаться, если он станет писать левой рукой. Не лучший вариант, зато он может хоть как-то высказаться. А слух у него не хуже, чем прежде. — Она взглянула на Гизелу, которая ждала ее у двери. — Ты *справишься* одна? — спросила она Августу.

— Да! — Она видела, как нужен был матери такой ответ.

Лицо матери казалось напряженным, пронзительные глаза о чем-то молили. Удар, который перенес Гримм и в результате которого у него оказались парализованы правая сторона и язык, тяжело сказался и на ней. В то утро после церкви Августа не сразу пришла домой отчасти для того, чтобы дать матери побыть наедине с ее дорогим Якобом. Сейчас пожилой женщине необходимо было уйти и помолиться за него в храме, поближе к Богу.

Когда дверь закрылась, тишина показалась Августе напряженной. Она отложила перо и фотографию, которую собиралась послать в Кассель, встала и вышла в коридор.

Дверь к Гримму была приоткрыта, и, приблизившись на цыпочках, она могла наблюдать за ним, оставаясь незамеченной. Он полулежал на подушках. Пальцами левой руки касался правой руки и локтя, нахмурясь, словно ожидая, что парализованная сторона вернется к жизни. Затем он уставился на пальцы, с таким выражением лица, словно они были грязные, и ему это было противно. Он говорил ей, что и ему доводилось плакать. Но когда?

Кто или что могло заставить плакать этого человека?

Блокнот и карандаш лежали на стеганом покрывале у него на коленях. Дядя ничего так и не написал. Ирония судьбы поразила Августа. Язык, который мог бегло говорить на стольких языках, был теперь неподвижен. Рука, которая так элегантно писала, онемела.

— Мысль — это молния, — сказал он однажды, по-шамански шутливо размахивая руками, — слова — это гром, согласные — кости, а гласные — кровь языка.

Августа обхватила руками плечи. Но тишина эта не была для него новой. Она всегда была с ним. Накануне вечером она просматривала письма к ней из его двухлетней ссылки. «Я пил из безмолвных ключей Средневековья, — писал он, — и искал первозданные леса наших предков. Я ощущаю себя частью всего сущего».

Он был в десяти шагах, но в этих десяти шагах было десять веков, а потрепанным ковриком на полу были все земли Европы. Неподвижность его оставалась лишь внешней, Августа это ясно видела. Внутри он все еще сражался в битвах. А воздух вокруг был пропитан жаром его борьбы. Она ощущала это и на улицах, будто сам город постепенно погружался в молчание из уважения к великому старику. Все изменится, когда он уйдет. Дверь в прошлое захлопнется навсегда.

Он посмотрел в ее сторону и прищурился, словно от нее исходил слепящий свет. Он так долго жил в стране, которая балансировала на краю: раздробленная родина, которую он так любил. Видимо, благодаря его трудам благодарный народ в конце концов вновь полюбил его и будет любить до самой смерти. История узнала об этом человеке, который так много знал об истории.

— Я тут, дядя, — сказала она, входя без стука. — Тебе немного лучше?

Он кивнул. И продолжал отрешенно смотреть куда-то в себя. В *воздушном царстве грез*, подумала Августа, *мы с кем угодно спорим...* Это царство было настоящей его родиной, и сейчас он был на пути туда. Не разговаривая, но мечтая. Разговор может подождать. Тот разговор, которому не суждено было состояться. И в прошлый полдень — она ощутила легкое прикосновение, прежде чем чашка упала, и она поняла, что он падает без чувств, — и в тот момент сердце ее забилося так сильно. Он прикасается ко мне, думала она, едва осмеливаясь в это поверить. Он действительно хочет поговорить со мной...

Возможно, он готов был сказать ей. Вот и сейчас она так легко могла спросить. Просто спросить, а он мог кивнуть или покачать головой — если только она не онемееет, как и он.

Но был ведь еще и блокнот.

Стук в дверь был таким тихим, что она поначалу его не услышала. А когда услышала, предположила, что мать забыла молитвенник, и послала за ним Гизелу, у которой не было ключей. Врач не мог прийти так рано.

— Минуту, дядя, — сказала она, когда поняла, что горничная не услышала стука.

Она скользнула в коридор. Голова ее была столь заполнена тишиной, что когда она открыла дверь и Куммель начал говорить, она смотрела, как шевелятся его губы, но ничего, совсем ничего не слышала.

Глава двадцать четвертая

Ночью король возвращался обратно во главе небольшого отряда. Пока лошади летели темными тропинками на запад, он представлял, как принесет известие о своей легкой победе. Расскажет матери, жене и детям, как один лишь вид его армии под тринадцатью флагами заставил разбежаться императорские войска.

Правда, временами он чувствовал, что упустил шанс пролить кровь на границе государства, таким образом обозначив эти границы, чтобы впредь ни один захватчик не посмел на них посягнуть. Но он был рад, что возвращается так скоро, чтобы преуспеть в мире так же, как преуспел в войне.

Махнув всадникам, чтобы те ехали дальше одни, он пустил лошадь галопом туда, где лесная тропинка переходила в прямую, вымощенную камнем дорогу, ведущую ко дворцу. В

ночном воздухе запахло дымом. Часовые, узнав его, побежали было докладывать о его прибытии. Но, спешившись, он приложил палец к губам и тихо пошел по гравиию к дворцу, где в глухой ночи лишь в двух окнах горел свет.

Он прошел через кухни, стараясь не разбудить горничных, поварят и поваров, что спали по углам или за столом, положив на руки голову. Но когда проходил через парадный зал, эхо от его шагов было слишком громким. Он обернулся и обнаружил рядом мажордома.

— Вы вернулись с победой, ваше величество, — сказал тот скорее утвердительно, нежели вопросительно — странным надтреснутым голосом.

— Откуда ты узнал?

— Если бы исход был иным, вы не позволили бы себе вернуться.

Он кивнул, касаясь рукояти меча под полой камзола, и повернул к лестнице.

— По вас скучали здесь, ваше величество.

Он улыбнулся, стоя на первой ступеньке:

— Несмотря на то, что разлука была столь краткой?

— Она показалась очень долгой. Особенно королеве.

Король взглянул в лицо мажордому. У того было взволнованное, озадаченное и даже виноватое выражение.

— Я боролся с собственной совестью, — прошептал он, — но мне пришлось уступить присяге на верность вам, а из-за того — и вашему регенту. — Он громко сглотнул слюну. — Вы увидите, никто во дворце не уклонился от этой присяги.

Король выглядел озадаченным, но не хотел больше ничего слышать. Разговор мог подождать. Держась за дубовые перила, он помчался наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Но на последнем пролете он увидел двух часовых с алебардами, стоявших по обеим сторонам двери в хозяйскую спальню. Они быстро скрестили оружие, не пуская его.

— Вы с ума сошли! — прошипел он, подступая ближе. — Не видите, кто я? Кто поставил вас сюда?

— Мажордом, ваше величество, по приказу регента.

Они выглядели испуганными, но продолжали преграждать ему дорогу.

— Тогда скажите, кто пытался ворваться сюда! Я переломлю ему все ребра! — Протянув руку, он сломал преграду. — Говорите!

— Мы здесь, чтобы не позволять ни выйти, ни войти. Это приказ регента. Если мы не повинемся, нам грозит смерть. Но теперь, когда вы вернулись...

Он прорвался между ними и влетел в комнату. В тусклом свете глазам его предстала сцена, которой он никак не ожидал увидеть. Он был так ошеломлен, что едва мог поверить собственным глазам.

Окна были наглухо закрыты, в комнате стояло зловоние: его жене явно не позволяли выходить в уборную. Кроме широкой кровати, все здесь было разломано, разбито и разорвано. Королева лежала в том же положении, как он ее оставил, но на простынях, изодранных на полосы, на осколках разбитых статуй. Ее длинные несравненные волосы свешивались с кровати на потрепанную шкуру на полу. Она прерывисто дышала, глядя в потолок и даже не повернув к королю голову.

— К ней никто не входил, ваше величество, — сказал один из алебардщиков. — Она впала в безумие, когда у нее забрали детей.

— Детей? — он шагнул в зловоние, к бесчувственной женщине. — *Где мои дети?*

Она повернула голову, и ее глаза, постаревшие на несколько десятков лет, уставились на него.

— Твоя мать забрала их, — сказала она тихо, почти шепотом, полным отчаяния.

— Что значит *забрала*?

— Ты привез ее сюда, — заговорила она в забытии. — Ты хотел, чтобы она была тут...

— Где она сейчас? Скажи мне, где она?

— А как ты думаешь?

Он поднял брови, начав задыхаться. Но он знал. И он знал даже больше, чем

осмеливался подумать.

На лестнице послышались шаги: вошел мажордом.

— Она велела поместить их в старую башню, ваше величество, — сказал мажордом. — На чердак с прялкой.

Король медленно повернул к нему голову:

— Ты видел их с тех пор?

Тот покачал седой головой; его взгляд был тверд, как стена, укрепленная контрфорсами.

— Это была она! Я знала, что это она! — простонала королева. — Я была права. Она была там. Она позвала меня и предложила потрогать веретено...

Он не мог на нее смотреть.

— Что ты имеешь в виду? Говори!

Она хрипло заплакала.

— Мне показалось, я ее знаю, когда она вышла из кареты. Я должна была сказать тогда, но разве я могла сказать? И что? Что я как будто видела ее раньше?

— Кто? *Кто она?*

— Пряильщица на чердаке, чьим веретеном я укололась. Это она. *Она*. Должно быть, она же и пришла тогда во дворец на праздник, чтобы наложить проклятие, которое должно было убить меня. — Она протяжно вздохнула. — Я думала, она вернулась за мной, но нет, ей нужны мои дети. Она не женщина, *не человек*. Она может принять любое обличье!

— Она моя мать, — тихо сказал он, обращаясь не к королеве, а к мажордому.

— Идите на чердак, ваше величество, — старик передал ему маленький золотой ключик. — Думаю, вам понадобится вот это.

— И спроси самого себя, что случилось с ее собственными детьми, — рыдала и кашляла жена, приподнимаясь на постели. — И с твоим отцом тоже... Она людоедка...

Не слушая больше, король схватил мажордома рукой так, что почти оторвал его от пола.

— Как это произошло? Как ты мог это допустить?

— Слово регента — закон. — Он дрожал всем телом.

Король отбросил его в сторону и поторопился вниз по лестнице. Когда сбегал вниз, он услышал, что королева последовала за ним, выкрикивая с каждым его шагом, словно заклинание:

— Уничтожь ее! Уничтожь ее!

Когда он пересекал двор, направляясь к западной части дворца, клубы дыма, запах которого он почуял раньше, ударили ему в лицо. Дым этот вырывался из старой башни, которая сейчас походила на огромную дымовую трубу.

Глава двадцать пятая

Фрейлейн, казалось, была в такой глубокой задумчивости, что Куммель задался вопросом, узнала ли она его. В квартире было очень мало света. Он не был уверен, есть ли дома кто-нибудь еще, хотя видел с улицы, что старая хозяйка и ее невестка пошли в церковь.

— Тебе лучше войти, — пробормотала она, отступая и не делая попытки взять сюртук, который он держал в руках.

Она медленно закрыла дверь, будто прислушиваясь к ее скрипу. После паузы повернулась и сделала ему знак следовать за ней. Он шел, глядя на старую черную шаль, которая была наброшена поверх ее темно-синего платья с рукавами в форме пагоды, несмотря на то, что в доме было очень тепло и даже душно.

К удивлению Куммеля, она скользнула в первую комнату, кабинет профессора. Ее поведение было таким странным, что он подумал, что она ошибочно приняла кабинет за гостиную, но вошел следом. Последний раз он был здесь еще перед отъездом в Гарц, когда помогал упаковывать материалы по «Словарю». Вдоль трех стен располагались стеллажи с

книгами вперемешку со шкафами, забитыми рукописями, а прямо перед ним — два высоких окна, выходивших на Линкштрассе.

Занавески были открыты, пропуская достаточно света с улицы, чтобы он мог видеть профиль фрейлейн. Она села на большой кожаный диван. Сбоку от нее лежал подарочный поднос с выгравированными портретами профессора и его покойного брата. Куммель стоял в ожидании, держа сюртук на скрещенных руках. Она встала, подошла к креслу профессора у стола и взялась за спинку. Стол на самом деле состоял из трех столов, сдвинутых вместе и образующих три стороны прямоугольника. Фрейлейн наконец повернулась к нему.

— Мы не ожидали, что ты вернешься, — сказала она тихо с легкой улыбкой.

Он поднял руки, будто объясняя:

— Сюртук, фрейлейн. Он принадлежит вашей семье.

— Сюртук, — эхом отозвалась она, глядя куда-то мимо.

Он осторожно подошел к дивану и положил сюртук. Наблюдая за ним, она поднесла руку к горлу, где была приколотая небольшая синяя брошка с серебряной инкрустацией. Эта брошка делала ее шею очень нежной и такой тонкой, что, казалось, можно было обхватить одной рукой. Он вернулся к полуоткрытой двери.

При таком освещении было не очень хорошо видно, но ему казалось, что кабинет выглядит почти так же, как пять недель назад. Сам стол был таким же чистым, каким оставил его профессор, отправляясь в горы. На столе не было начатых работ. Даже цветы на подоконниках выглядели заброшенными. Внезапно Куммеля поразила мысль, что — учитывая черный цвет ее шали, — возможно, он пришел слишком поздно.

— Я говорила с профессором о том, что ты сказал, — сказала она уже другим тоном. Он открыл было рот, но взглянув на него, она продолжила, обращаясь к двери: — О том, что ты все потерял. Когда был ребенком.

Он почувствовал слабый отголосок давешнего жара, увидел молчаливые фигуры, пляшущие в огне, почувствовал запах — сперва священных книг, а потом и их читателей.

— Ты потерял семью? Я знаю, что были беспорядки, поджоги. Что произошло? Ты потерял родных, а самому удалось бежать?

Голос ее был неровным, будто она говорила о своих кровных родственниках. Она говорила чуть громче, чем шепотом, словно боясь, что портреты на шкафах услышат и прикрикнут на нее, чтобы она держала язык за зубами. Куммелю захотелось, чтобы в руках все еще был сюртук. Хотя ведь он пришел вовсе не из-за сюртука. Взгляд его привлек портрет, висевший отдельно между двух окон; женщина в солидном возрасте, с тяжелыми округлыми чертами.

— Это было давно, — произнес он. — Это в прошлом. Я хочу, чтобы это осталось в прошлом.

Фрейлейн посмотрела на него и, казалось, погрузилась в себя.

— Но все эти годы у тебя не было семьи? Ты был один?

Он оглянулся:

— Не больше, чем всегда.

— Ты так считаешь?

— Иногда я так думаю. — Он вновь поднял глаза, посмотрел на нее. Рука ее дрожала. Он пришел не для того, чтобы говорить о себе, но она была слишком далеко от него. Если бы она все еще оставалась на диване, возможно, он бы осмелился подойти и сесть рядом. Препграда в виде стола была слишком угрожающей, как и взгляд полной женщины на портрете: уязвленный, но саркастический и всезнающий взгляд, и еще у нее были пренебрежительно сжаты губы. Он видел, почему ее портрет удостоен чести висеть здесь. У женщины был почти королевский вид, стремление главенствовать, хотя она представляла собой лишь штрихи и несколько слоев краски.

— Та фрау, — указал он головой, — кто она?

— Мать профессора, — она не обернулась, чтобы проследить за его взглядом. — Я ее никогда не видела.

Он не мог сбить ее с толку. Она все еще думала о семье, которую сам он едва знал: мать, отец, сестра и дядя. Она дышала дымом того костра, вздрагивая от зловония горячей плоти, а для него все это было так далеко: край, куда ему нет нужды отправляться, пока он сам не решит. Он ничего не видел, не слышал криков, ничего не чувствовал — ни запахов, ни жара. И за все это был перед ней в долгу.

— Где он? — спросил он. — Где профессор? — Этого было недостаточно. Он сглотнул, чтобы подготовиться и себя, и ее к следующей фразе: — Где ваш отец?

Она бросила на него короткий взгляд и покачала головой.

— Вы еще не знаете наверняка?

Она закусила губу.

— Я не могу спросить. Он в постели почти с самого нашего возвращения. А вчера... вчера у него случился удар.

— Пожалуйста, фрейлейн, я могу его видеть?

— Прошу прощения?

— Могу я видеть профессора? Войти к нему?

Тиканье часов в тишине казалось громче. Куммель вновь почувствовал на себе взгляд женщины с портрета. А когда фрейлейн наконец ответила, слова словно переплыли из ее уст в его.

— Он не может говорить. Он едва двигается.

Она бросила последний взгляд украдкой, вероятно, поняла, чего он хочет. Обойдя кресло, она вышла из своего маленького укрытия.

Тиканье часов, казалось, стало громче, а через несколько ударов и вовсе превратилось в сухое странное пощелкивание, которое словно вернуло Куммеля в Гессен. Только теперь оно звучало не как стук кости о кость, а как клацанье зубов. Да, точно: зубов. В этой занавешенной и задрапированной комнате был еще кто-то, и он в это время жевал и чавкал. Куммель содрогнулся при мысли о том, как выглядит этот едок.

Фрейлейн остановилась на пути к двери, словно прислушиваясь. Она была так близко, чтобы он мог бы взять ее за руку, если бы захотел.

— Вы слышите? — прошептал он. — Или мне только кажется?

Она полуобернулась к нему, но тиканье уже прекратилось. Куммель видел, что волосы ее были собраны в тугий пучок, словно она яростно воткнула в него все имевшиеся под рукой шпильки. Когда она заговорила, он едва различил ее голос и увидел, что в глазах ее появился ужас.

— Чего ты хочешь?

— Пустите меня, — пробормотал он. — Пустите меня к нему, пожалуйста.

Якоб выскользнул незамеченным из франкфуртской Паульскирхе и пересек пустой Рёмерплац. Шум дебатов еще звучал у него в голове. Так много голосов и так мало смысла. Этим теплым сентябрьским вечером мечта его рухнула. Первая Национальная ассамблея всех германских земель канула в Лету. И он знал, что в качестве члена 29-го избирательного округа он больше не появится в тихой деревянной гостинице. Ибо весь эффект, произведенный его страстными обращениями, включая стремление гарантировать свободу не только немецким гражданам, но и тем, кто приехал жить на немецкую землю, — был таков, что ему вообще не стоило открывать рот.

У него был великолепный предлог для возвращения в Берлин: болезнь брата. Не говоря уже о двух часто болеющих племянниках. В его шестьдесят три от него и не ждали, что он выдержит сырую, холодную франкфуртскую зиму. Но он намеревался остаться; за несколько месяцев до этого ничто не могло удержать его от участия в революционных процессах вплоть до их эпохального конца.

Здесь, на священной земле Гессена, он надеялся сыграть роль повитухи при рождении гордого нового рейха, объединенного мирным путем, и с конституционным управлением. Но неделю за неделей, заседание за заседанием он понимал, что его идеалам нет места на этой

грязной политической арене, что ни одно государство не откажется от своего суверенитета иначе как под угрозой применения силы, до которой в итоге и дойдет.

Спокойно, сказал он себе. Ему снова нужна была тишина, чтобы «колоть дрова» и так проводить свои дни. Он взял ключ от комнаты и тяжело поднялся по лестнице. Ему трудно было глотать. Он пытался прочистить горло, но безуспешно. Руки дрожали, и когда он шел в комнату, которую приспособил под кабинет, правая щека дернулась, а лицо онемело.

Он поставил три стола и кресло у окна, воссоздавая обстановку, что была в Берлине. Стол слева от него был завален корректурой «Истории немецкого языка», которая должна была выйти в двух томах до конца 1848 года. Он взял карандаш, и взгляд его упал на две опечатки в одном предложении предисловия, написанного в порыве патриотизма всего несколько недель назад. Вместо того чтобы вставить пропущенные буквы, он написал на полях правильный вариант:

Эта книга учит, что наша нация после того, как был сброшен римский гнет, принесла свое имя и свободу романским народностям в Галлии, Италии, Испании и Англии, и своей огромной властью определила победу христианства, став непроходимой преградой в центре Европы на пути яростных славян.

Он смотрел на то, что так долго писал. Смеркалось, но он не зажигал лампу. Отвернувшись от корректур, посмотрел на письмо Августы, которой собирался ответить уже неделю.

Во время его одинокого пребывания во Франкфурте она писала ему очень часто. Он хранил ее письма возле кровати, прижав окаменевшей ракушкой. В последнем она описывала обед, который дали Вилли и Дортхен в честь ее шестнадцатилетия — *«но, дядя, без тебя это был праздник лишь наполовину»*. Она так отчаянно пыталась скрасить его одиночество. Он должен был написать ей что-то в ответ, но написал совсем не то, что ей хотелось бы прочесть: *«Мы боимся очередных проявлений жестокого насилия, особенно против евреев... Неудачная попытка объединить Германию сделала все остальные достижения незначительными...»* Он никогда не умел говорить ей то, что она хотела слышать, и сомневался, что когда-нибудь сможет. Какова мать, такова и дочь, думал он, и его охватывал внутренний ужас.

Он посмотрел туда, куда положил последние материалы для «Словаря». Отодвинул кресло и опустился в него, уронив голову на грудь. Взгляд его пробежал по силуэтам величественных крыш «тайной столицы Германии», как ее называл Гёте. Как она могла не быть тайной, когда самой страны не существовало, когда «Германия» была теперь не реальней, чем королевство, выпавшее из кармана правителя?

Совершенно неожиданно для себя самого Якоб заплакал. Слезы текли по щекам, подбородок дрожал. Он последний раз плакал так давно, что сейчас вдруг почувствовал себя другим человеком, одновременно моложе и старше. И он никак не мог остановиться.

В голове возникали образы погибших на баррикадах Берлина и Вены; ни в чем не повинных «ростовщиков» на юго-западе Гамбурга, чьи дома под покровом темноты подожгли лицемеры со средневековыми мозгами. Он проклинал себя за то, что мог подумать, будто ветер истории подует в его сторону. Ветер оставался таким, как всегда: слова, шум, обманчивые звуки. Как можно установить пределы звука? Как может шум удержать очередного Наполеона, очередного императора, который решит вторгнуться с востока или запада? Провал Франкфурта будет преследовать поколения. Оставались только пушки: прусский способ. Ах, прусский способ! Якоб закрыл глаза, и перед его внутренним взором предстала картина *такого* будущего — и это была грязная кровавая свалка.

Он все плакал, усталый старик в съемной комнате, в городе, на который опускался вечер. Слезы размывали чернила на его ответе Августе. Он взял листок, скомкал и вцепился в него зубами, чтобы остановить рыдания. И медленно, очень медленно, когда к старику уже начал подползать свет уличных фонарей, в комнате установилась столь необходимая

тишина.

Гримм услышал голоса в коридоре прежде, чем заметил в дверях движение: неясная мужская фигура, затем поменьше — женская. Это могли быть Вилли и Дортхен; Савиньи и Кунигунда; его любимые родители. Практически любая пара, которая умела бегло говорить между собой на доверительном игривом языке брака, с детьми, хорошими послушными детьми, продолжающими семью.

Они стояли близко друг к другу, глядя на него, возможно, думая, что он их не видит. Он тонул в подушках, подбородок покоился на груди. Щетина на небритых щеках колола ткань халата. Прямо перед его носом лежал старый блокнот. Карандаш скатился на пол. Но еще раньше он успел нацарапать записку.

Только вот не мог вспомнить, для кого ее написал. Может, для своей матери? Он ощущал себя ребенком, борющимся за то, чтобы иметь возможность писать, — освобожденный от всякой ответственности ребенок, от которого даже не ожидают, что он заговорит. Приятно быть таким, будто совершая путешествие во времена своего рождения, к истоку.

— Это Куммель, дядя, — голос был громким, как и следовало.

Гюстхен. Только Гюстхен. Гюстхен и ее слуга.

— Добрый вечер, герр профессор. Мне так жаль!

Гримм не понял, что это было, извинения или сожаления о его болезни. В любом случае слова прозвучали искренне. Они стояли по обеим сторонам кровати, Гюстхен справа, молодой Куммель слева и немного ближе. Гримм взял блокнот и с трудом протянул ему. Гюстхен наклонилась поднять карандаш. Он чувствовал, как она положила карандаш ему на грудь.

— Что он написал? — спросила она Куммеля.

Он колебался, прежде чем ответить:

— Три слова — я думаю, одних и тех же. Здесь написано: *Сказку, сказку, сказку?*

— Ах, так! — воскликнула Гюстхен, и Гримму показалось, что она хихикнула. — Так мы просили сказку, когда были детьми. Так дядя и его братья и сестры просили сказку, когда были маленькие. *Сказку, сказку, сказку!* Ты это имеешь в виду, дядя? Ты хочешь, чтобы тебе рассказали историю?

Гримм дотянулся до блокнота, вновь положил его и поднял карандаш, чтобы нацарапать еще несколько слов. Гюстхен склонилась над кроватью, поправляя блокнот и стараясь разобрать, что он написал, но пришлось ждать, пока он закончит, прежде чем прочесть вслух:

— Историю твоих родственников. Она не разобрала, что в конце он написал отдельно букву «К». Тогда, чтобы всем все стало ясно, Гримм вновь передал блокнот Куммелю.

— Вы хотите, чтобы я рассказал о своей семье?

Гримм потряс головой и хлопнул рукой по одеялу, приглашая Куммеля сесть, так как ему тяжело было смотреть все время вверх, немела шея. Молодой человек повиновался, придвинулся ближе.

— Я думаю, — предложила Гюстхен, касаясь рукава Куммеля, — это значит сказку — историю — которую рассказывали тебе твои родственники.

— Еврейскую историю?

Гримм откинулся назад. Дело сделано. Теперь он мог закрыть глаза, чувствуя, как комната и те, кто был в ней, отдаляются от него. Он знал, что Гюстхен и Куммель говорят друг с другом, но ничего не слышал. Он тонул, стоя под градом падавшей на него земли, то есть тонул не только он, но и его миниатюрное королевство. Так продолжалось до тех пор, пока это движение не стало таким естественным, что он его не замечал, как путешественник, отправляясь в поход, не замечает вращение Земли.

Он отправлялся в другое королевство: быстро, в панике, пересекал темный дворцовый двор, и кто-то шел за ним по пятам. В воздухе пахло паленым. Запах был таким сильным, что

вызывал у него спазмы. Впереди виднелась арка в древнюю башню, похожую на дымовую трубу. Ступеньки вели наверх сквозь пелену дыма. Он хотел повернуться и убежать, но вместо этого тихонько вошел. Голоса позади него стали настойчивее, и он стал различать отдельные слова:

— ...так давно.

— Но ты уверен, что что-то запомнил? Такой маленький? Это значит очень много для него...

Гримм открыл глаза и увидел склонившегося над ним Куммеля. Лицо слуги было так близко, что Гримм мог различить его брови. Слуга пожал плечами и выпрямился. Его убедили. Будет Гримму история. Гримм снова закрыл глаза, но он теперь видел только то, что Куммель решил ему показать:

— Один благочестивый еврей не мог содержать своих детей. Все, что он делал, это изучал Тору в синагоге, пока однажды жена не сказала ему: «Долго ты будешь сидеть сложа руки? Пойди поищи какую-нибудь работу, это спасет нас от голода». Он собрал пожитки и со слезами отправился за городские ворота.

В первом городе, куда пришел, он на каждом углу слышал голоса изучающих Тору. Его тепло приняли и повели в синагогу. Но едва он оказался внутри, как все эти люди оказалось демонами в людском обличье.

Испугавшись, благочестивый еврей попытался вырваться и вернуться домой, но демоны ему не позволили. «Ты останешься здесь, — сказали они, — женишься на одной из нас, у тебя будут дети, богатство и все, чего душа пожелает». — «У меня уже есть жена и дети, — взмолился еврей. — Пожалуйста, позвольте мне уйти». Но его не слушали. И все, что ему оставалось, — взять в жены одну из девиц, и с ней у него было много сыновей и дочерей...

— Дядя, — донесся до Гримма голос Августы, — ты слушаешь? Ты не спишь? Ты слышишь, что рассказывает Куммель?

Гримм кивнул. Он больше не мог держать глаза открытыми.

— Как-то раз, — продолжал Куммель тем же спокойным и ровным, но выразительным тоном, — благочестивый еврей стал умолять свою жену-демона отпустить его провести прежнюю жену и детей. «Если ты обещаешь вернуться обратно до ночи, — ответила она, — я тебя отпущу. И дам тебе для них много денег, так что они не будут больше нуждаться. Я дам тебе такую лошадь, которая доставит тебя к ним мгновенно». — «Как скажешь», — ответил он.

Привели лошадь, принесли деньги, и еврей отправился в путь и вскоре обнаружил себя перед своим домом. «Благодарение богу, ты дома, — сказали жена и дети, плача от радости. — Где ты был так долго?» Он ничего им не сказал, а когда пришла ночь, не мог заставить себя уехать. И лег подле жены, сраженный печалью. «Скажи мне, в чем дело, — умоляла она со слезами. — Или я покончу с собой». Тут уже он не смог молчать и все рассказал.

«Муж, — сказала она, когда он закончил, — иди в синагогу и изучай Тору. Только так ты себя защитишь». Рано утром он отправился в синагогу и сидел там день и ночь. А когда жена-демоница поняла, что он не вернется, она тоже пошла в синагогу и нашла его там погруженным в учение. Она подошла к раввину и сказала: «Господин, я пришла с жалобой на того мужчину, который читает».

Благочестивый еврей услышал, взглянул на нее и сказал: «Тебе не на что жаловаться. Ты демон». — «Но я твоя жена, — заявила она. — Мы сочетались законным браком, и у нас дети. Ты обещал вернуться ко мне, но нарушил обещание. Я требую, чтобы ты выполнил свои обязательства в соответствии с еврейским законом». — «Ты не еврейка, — возразил мужчина. — У тебя вообще нет права на существование. Сгинь, сатана!»

Когда демоница увидела, что не может поколебать его, она сказала: «У меня есть последняя просьба. Выполни ее и больше никогда меня не увидишь». — «Что за просьба?» — спросил он, надеясь, что все его невзгоды закончатся. «Поцелуй меня, — сказала она, —

это и есть моя последняя просьба». Он подошел к ней и поцеловал. И этим поцелуем она вытянула душу из его тела.

Куммель кашлянул, досказав историю. Гримм чувствовал противный запах горящего жира. Ноги его вновь ступали по ступенькам в башне, и чем выше он поднимался, тем сильнее ему в лицо бил жар, и тем больше болели глаза, и он задыхался от дыма.

— Дядя, — Гюстхен не могла удержаться, чтобы не сказать ему это: — Свою историю он рассказал и теперь оставляет в твоих руках.

Гримм почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Рука Куммеля осторожно направляла его шаги. Он ощущал безопасность и спокойствие. Руки их соединились.

— Герр профессор, вы слышите меня? Я знаю, что слышите — вы слышали мою историю. Это было то, чего вы хотели. А сейчас, герр профессор, дайте фрейлейн Гюстхен то, чего *она* хочет. Ответьте на вопрос. Просто кивните или сожмите мою руку...

— Нет, нет!

Гримм чувствовал, что кровать под ним покачнулась. Это Августа потянулась через нее, чтобы схватить Куммеля за руку, но тот, казалось, этого не заметил.

— Кивните или сожмите мне руку, этого будет достаточно, герр профессор. Итак, скажите правду. Это все, что хочет знать фрейлейн. Вы готовы ответить? Вы ее отец?

— О, *Гюстхен!*

Кровать вновь дрогнула, потому что и Куммель, и Августа вскочили, и Куммель осторожно поправил профессору подушки, вернув его в тот страшный дворцовый двор — прежде чем дать совсем уйти.

— Мама! — выдохнула Августа, глядя на дверь.

Глава двадцать шестая

У подножия башни он обернулся и столкнулся с королевой. Из-за вившегося в воздухе дыма с пеплом мало что можно было разглядеть, и ее лицо выглядело бледным размытым пятном. Она заикалась, всхлипывала, трясла головой, будто пыталась вытрясти из нее весь этот кошмар.

Хотя дыма было много, во входной арке в башню было холодно. Ему пришлось удержать ее. Что бы ни ждало внутри, ей не стоило это видеть. Он остановил ее, положив руки ей на плечи:

— Позволь мне пойти одному, — сказал он, не глядя на жену. — Прошу тебя, дай мне сделать это.

— Она убила наших детей...

— Мы не знаем. Пока не знаем.

— Вот что она такое! Ее природа, понимаешь? Она убивала раньше, и будет убивать еще. Не дай ей остаться в живых. Сотри ее с лица земли.

Она опять бросилась к нему. Хотя королева говорила с жаром, он знал, что она за ним не пойдет. Он дрогнул перед необходимостью взбираться по винтовой лестнице. Если бы был другой путь, он выбрал бы его. Путь прочь от этого дворца, этого королевства, этого мира. Он хотел бы переложить вину на чьи-нибудь плечи, но ему вспоминались предупреждения, коих он не послушал. Он был здесь, потому что сам сделал выбор. И сейчас между ним и его матерью не было никого.

— Подожди меня, — сказал он своей полубезумной королеве, притягивая ее к себе и целуя в висок. — Не теряй надежды.

Она прислонилась к стене башни и подняла вверх глаза. Он толкнул низкую дверь и открыл ее, не пользуясь ключом, который дал ему управляющий. Бросив последний взгляд назад, помчался по лестнице.

Дым все клубился, и он достал меч, словно для того, чтобы прорубать себе дорогу. Но никакое лезвие не рассекло бы едких закручивающихся клубов. Он прикрыл нос и рот рукавом, но дым проник в него. В ту ночь, когда умер Фридрих, рассказывала ему мать, дом

загорелся и сгорел полностью: два несчастья чуть не довели ее до третьего, сказала она тогда, до самоубийства. Он молился, поднимаясь все выше и выше, о том, что если кому-то сейчас суждено погибнуть, то пусть это будет она.

Но эта молитва была только ради жены, и слезы в его глазах, когда он их открыл, лишь отчасти были вызваны дымом. Она была его матерью; она всегда была его матерью.

Он дошел до конца ступеней. Справа он увидел лишь окно и посмотрел в него. Он снова увидел лицо лесоруба, жившего по ту сторону трещины в карте, где сам король предпочел бы остаться. Он знал, что можно проскочить между двух миров. Возможно, он ошибся, оставшись в мире, карта которого нарисована другими, а не начерчена им самим.

Дыма стало немного меньше, хотя запах впивался в его лицо, словно чьи-то пальцы. В воздухе витал запах мяса, но не человеческой плоти, которую он никогда в жизни не пробовал. Дверь на чердак была приоткрыта, снова ему не потребовался ключ, который дал ему мажордом. Держа перед собой меч, но закрыв лицо рукавом, он пошел туда, морщась, поскольку волны жара накатывали на него. Самый громкий звук, который он слышал, был похож на щелканье веретена.

Ногой распахнул дверь. Ее он увидел со спины, она сидела на стуле перед прялкой, а справа полыхал огонь, который она развела. Стекло в одном из высоких окон в нише было выставлено, и хотя дым выбивался наружу, через дверной проем он залетал обратно. Низкое пощелкивание продолжалось, но было слишком нечетким для веретена; к тому же казалось, что звук был не от дерева.

Она была в платье, в котором приехала на свадьбу. Оно уже было грязным и тесноватым в плечах, когда она наклонялась к огню. Он видел подпорку для вертела позади нее. Мяса на вертеле ему не было видно, но было слышно, как шипел и потрескивал жир, капавший в огонь.

Он держал в руке меч. Он мог бы вонзить его ей в спину, даже не посмотрев в глаза. Он уже знал, что должен это сделать, но не мог. Вместо этого он посмотрел в угол комнаты. На плитах стояла потемневшая железная клетка, похожая на те, что в королевском зверинце использовались для обезьян или львов. Среди опилок, полуобглоданных бараньих костей и надкусанных краев хлеба, свернувшись в комочек, лежал на боку один из близнецов.

Бросившись вперед, король понял наконец, зачем ему нужен был ключ мажордома. Вставив его в замок на глазах у матери (до сих пор она не замечала, что он тут), он с радостью увидел, как ребенок поворачивается во сне, а потом дернул дверь клетки и подхватил малыша. Он поцеловал его спутанные волосы, а тот обнял отца за шею.

Он повернулся, чтобы выйти из клетки, и тут увидел связанное за ручки и ножки тельце второго ребенка, жарившееся на вертеле.

Не обращая на него никакого внимания, женщина развернулась на стуле. Она наклонилась вперед и знакомым ножом, рукоять которого была отделана драгоценными камнями, срезала кусок потемневшего мяса. Прижимая его к лезвию большим пальцем, отправила в испачканный жиром рот и начала жевать. Звук ее щелкающих зубов заставил его пошатнуться.

— Нет! — донесся от двери крик.

Он посмотрел туда, где внезапно появилась его жена. Она храбро преодолела лестницу. С того места, где она стояла, ей не было видно вертел и то, что на нем. Ее помертвевший взгляд был прикован к ребенку, которого король прижимал к своему плечу, должно быть, она решила, что ребенок мертв.

— Он в безопасности, — заверил ее король, подходя к двери и передавая малыша в ее трясущиеся руки. — Видишь, мы его вернули. Забирай его и уходи. Забери его отсюда, прошу тебя!

Она прижала спящего ребенка к лицу, как губку. Но он понимал, почему она плачет еще горше. Это были слезы не столько от облегчения, сколько от уверенности, что второго ребенка они потеряли.

— Иди! — закричал он, подталкивая их к двери. — Можешь поверить, я это сделаю.

Клянусь!

Она уставилась на лезвие его меча.

— Сотри ее с лица земли! — рыдала она. — Уничтожь, иначе она будет преследовать *его* детей. — Она прижала к себе головку ребенка. — *Их* детей. Если *она* не умрет, она не остановится. Ты должен положить этому конец.

Он выставил ее за дверь. А когда он повернулся к матери, та развернулась на стуле, чтобы встретиться с ним лицом к лицу.

Глава двадцать седьмая

— Прошу тебя, проводи этого человека. Я подожду тебя здесь.

Августа смотрела, как мать входит в спальню Гримма и встает как часовой у умывальника. Она зачем-то взяла с кухонного стола свернутую фотографию из Касселя и держала ее как дубинку.

Августа стояла на своем месте, глядя на Куммеля, чтобы удостовериться, что он тоже не двинулся с места. Не было сомнений, что мать слышала его вопрос. Она была похожа на привидение в своей темно-синей накидке, которую надевала в церковь. Лицо ее было кислым, как стакан грюнбергского вина.

— Куммель не виноват, — запинаясь, произнесла Августа.

— В чем не виноват? В том, что покинул свое место в Касселе? Или в том, что докучает старому больному человеку?

Рука Августы потянулась к брошке.

— Едва ли он докучает, — сказала она.

— Фрау Гримм... — начал было Куммель.

— Я ничего не хочу слушать! Ты нас всех разочаровал!

— Нет, мама. Он не хотел ничего дурного. Он просто принес обратно сюртук.

— В надежде получить деньги за последнюю неделю? Они удержаны в качестве штрафа, ему это должно быть известно!

Августа крепче сжала брошь. Она могла лишь покачать головой. Она знала, что мать говорит так скорее из-за отчаяния, чем в силу убежденности. Мать казалась совсем маленькой, Августа никогда не замечала, насколько она мала ростом. Глаза матери бежали полутемное пространство комнаты и встретились с глазами Августы.

— Это недостойно, Гюстхен! — Мать сжала руки перед собой, словно желая согреть их. Она переводила взгляд с дочери на Гримма, потом на злополучного Куммеля. — Недостойно!

Куммель поклонился и вышел из комнаты. Августа все еще не двигалась.

— Ты знаешь, что делать, — сказала мать немного благосклонней.

— Но почему ты здесь? — Голос дочери был похож на голос расстроенного ребенка. — Почему ты так скоро вернулась?

— Я увидела его на улице. Скрывать что-то от меня — это странно, Августа. Со мной это не пройдет. — Глаза ее снова встретились с глазами дочери.

— Возможно, ему приходится действовать скрытно. Возможно, у него нет выбора. Среди нас — среди таких, как мы. Ты не думаешь, что это мы *заставили* его так себя вести?

— Он такой, какой есть. — Она отвернулась и сказала мягче: — И ты такая, какая есть.

— И какая же? Скажи мне, какая я! — Она бросилась к изножью кровати, остановившись в нескольких шагах от матери, голос которой дрожал.

— Мне кажется, ты запуталась. Это трудные времена для *всех* нас. Проводи его, Гюстхен, и возвращайся. Нам нужно поговорить.

Августа, возможно, не двинулась бы, если бы не услышала отдаленный щелчок открывающейся входной двери. Пройдя мимо матери, она увидела Куммеля в дальнем конце коридора; он уходил.

— Подожди! — окликнула она.

Он оглянулся и смотрел, как она приближается. К счастью, Гизелы не было; мать, должно быть, послала ее в церковь. Поэтому никто не видел, как она схватила руку Куммеля, втащила его обратно и захлопнула дверь. Он не сопротивлялся, только не дал двери совсем защелкнуться. А когда она поцеловала его, не уклонился, но губы его были словно неживые. Будто он боялся, что она вытянет из него душу, как в рассказанной им истории.

Недостойно. Это слово, казалось, пронзало Августа. Он покачал головой прежде, чем она отдышалась, чтобы спросить:

— Я увижу тебя снова?

Он продолжал качать головой, а ее рука, державшая его руку, сжималась все крепче. Больше ей не за что ухватиться. Она удержалась от вопроса, куда он пойдет. Это значило так же мало, как то, откуда он родом. Но не поэтому она больше не произносила про себя: *«Позволь мне пойти с тобой»*.

Она хотела сказать, что очень к нему привязана. Но он не был ее принцем, а для ее сердца не было дома на этой карте. Это не любовь. Ради него она не вышла бы за пределы собственной жизни. Любовь снова была другим королевством. Страной, границы которой, ей, кажется, удавалось пересечь лишь на краткий миг, достаточный для того, чтобы сказать, что она там побывала. Тамошний климат и порядки ей не подходили, как не подходили они человеку, на которого она была больше всего похожа. И теперь ей надо к нему.

Ее рука выпустила руку Куммеля, нашла его пальцы и переплелась с ними.

— Спасибо, — шепнула она ему в плечо. Он в ответ легонько сжал ее пальцы. Она хотела от него услышать только одно. Но не успела задать вопрос, он ее опередил:

— Я не знаю, фрейлейн. Я не услышал ответа. Я даже не уверен, слышал ли он меня.

Она прижалась лбом к плечу. От него пахло табаком, но не таким, как раньше. Более затхлым, более дешевым. Ткань сюртука тоже была грубее. У нее закружилась голова, когда она задалась вопросом, неужели он все это просчитал: встретиться с ее матерью, удержаться от вопроса, пока не узнает, что она последовала за ним.

Она отпустила его, и он взглянул на рукав, будто на нем остался след. Он вышел через полуоткрытую дверь. Осторожный, подумала она, не скрытный, но осторожный.

Она улыбнулась, когда он обернулся для поклона, прежде чем исчезнуть на улице. Никто из них не сказал «до свиданья». Закрыв дверь, Августа прислонилась к ней, глядя в длинный темный коридор.

Якоб поспешил в коридор, крутя пояс на халате. Герман, в уличной одежде, громко стучал в дверь его спальни.

— У него лихорадка, дядя, — сказал он, запыхавшись. — Я иду за врачом. Рудольфа возьму с собой.

Якоб кивнул. Племянник явно решил, что Вилли не переживет эту ночь. Он слышал, как открылась и закрылась входная дверь, пока воевал с поясом, пытаясь его завязать. Через несколько минут он был у брата.

За эти годы было уже столько поводов для таких опасений, но интуиция подсказывала Якобу, что на этот раз не обойдется. Осенний отдых с Дортхен в Пилльнице, казалось, придал Вилли сил. Но в последние три недели, еще до того, как прожигание карбункула не помогло очистить заражение, Якоб видел, что брат понимает, что ему не доведется встретить свое семьдесят третье Рождество.

На прошлой неделе он иногда представлял, что Вилли больше нет. Когда угроза возрастала, он обращался к более практическим размышлениям. Дважды он сидел в малом кабинете, примыкавшем к его собственному, прикидывая, во что обойдется покупка новых полок, чтобы превратить эту комнату в библиотеку с собранием книг и рукописей. Когда он сидел там во второй раз, вошла Августа и села на диван, прежде чем заметила его за столом. Слабая улыбка появилась на ее лице, и Якоб улыбнулся в ответ, но чувствовалось, что это скорее совпадение, чем взаимное утешение.

Его обдало теплом прежде, чем он вошел. Дортхен и Августа стояли плечом к плечу у

дальней стены, будто жар камина не давал им подойти к широкой супружеской кровати. Якоб собрался с силами, чтобы не показать им свою минутную слабость.

— Он бредит от жара, — вздохнула Дортхен, глядя на худое задыхающееся лицо, неловко лежавшее в море подушек. — Если кто-нибудь из нас подойдет, он закричит.

— Он, кажется, думает, что мы — картины, — сказала Гюстхен погромче и, когда Якоб посмотрел на нее, подняла бровь.

— Мы думали, ты побудешь с ним, Якоб. Мы думали, он этого захочет.

Он чувствовал сладковатый запах пота и разложения. Это заставило его вспомнить о старинном рецепте смеси вина и воды, в которой его купали, когда он был ребенком. Вильгельм не видел его, пока Якоб не подошел совсем близко.

— Сходство! — хрипло произнес он. — Какое сходство! О, это, верно, мой дорогой Якоб!

— Тише, Вилли, тише!

Запавшие глаза смотрели то в одну сторону, то в другую, словно голос Якоба доносился из темного угла пригрезившейся картины. Волосы его слева были заправлены за ухо, а справа рассыпались по подушке. Костлявые руки недвижно лежали поверх одеяла, будто в заключительном аккорде любимого баховского пассажа.

— Тише, Малыш, — сказал Якоб. Студенческое прозвище всплыло в памяти из ниоткуда, и глаза наполнились слезами.

Вильгельм услышал и улыбнулся. Демон нырнул вглубь, пусть и на время. Он откинулся на подушки и в изнеможении закрыл глаза. Подбородок его дрожал. Казалось, только демон придает ему силы говорить и видеть. Но он удивил брата, который как раз опустился на стул рядом с кроватью.

— Мне снилось, Якоб, — начал он, — мне снилось, что я в Штайнау...

— Тише, Вилли. Береги дыхание. Сейчас придет врач.

Вилли покачал головой:

— Штайнау. Снова Амтсхаус, спустя все эти годы. Я туда вернулся. И там было так чисто. Чисто и опрятно. Красивый дом. Прелестный дом. Ты помнишь? — Он замолчал, ожидая ответа.

Якоб прочистил горло, улыбнулся. Нет, не сейчас.

— Я помню, Вилли. Это твой старый сон. Он пятьдесят лет тебе снится. Но сейчас полежи спокойно. Я знаю твой старый сон. Ты много раз мне рассказывал.

Вилли нервно улыбнулся, глаза его были закрыты, руки все еще играли на одеяле последний звучный аккорд. Больше он никого не слышал. Никого.

— Но все было таким пыльным. Все было покрыто слоем пыли. А мать и ты сидели напротив друг друга. За столом, помнишь? Она шила, а ты читал. — Вновь на лице его мелькнула улыбка. — И было так, Старший, будто я, в пыльных ботинках и яркой дорожной одежде, я *не был* там с вами.

Не в силах говорить, Якоб наклонился было вперед, но тут же откинулся назад. Он по-прежнему слышал, как невестка задыхается от слез. Дортхен знала. Она всегда отказывалась принять это, но сейчас она тоже понимала, что Вилли уходит — от него, от нее, от них всех.

— Ты здесь, — сказал больной более уверенным и ровным голосом. — Я рад, что ты здесь, Якоб. Я никогда не мог жить без тебя, и, кажется, — я и умереть без тебя не могу.

— Довольно, Вилли. Ты достаточно сказал.

Голос его стал тише.

— Но они обе теперь твои. — Якоб краем глаза заметил, что Дортхен, высвободившись из рук Августы, шагнула ближе. Вильгельм тоже это заметил и потянулся к Якобу. — Она твоя, — выдохнул он с какой-то дьявольской усмешкой, вместо своей обычной добродушной. — Ты заберешь ее обратно, правда? — Он закрыл глаза, словно защищаясь. — Я всегда лишь охранял ее для тебя.

Жмурясь от слез, Якоб прикрыл рукой глаза брата. Спустя какое-то время, которое

показалось вечностью, взглянул на Дортхен. Она спрятала лицо на плече дочери. Но Августа смотрела прямо на него. Она крепко сжимала губы, чтобы не заплакать — или, как почудилось ему позже, — чтобы не улыбнуться.

Дортхен дождалась, когда Августа вновь появилась в дверях комнаты дяди.

По лицу дочери ничего нельзя было понять. Шаль, которую она, вероятно, считала данью любви, свисала с ее руки. Она выглядела одновременно дерзкой и расстроенной, и пока не заговорила, казалась гораздо старше своих лет.

Уже без шляпки, Дортхен присела на стул, положив руку на руку Гримма лежавшую на покрывале. В другой руке она держала свернутую фотографию из Касселя. Пока Августа была в коридоре, она смотрела на нее, чтобы взять себя в руки. Из троих изображенных на ней она сразу узнала только Куммеля в старом сюртуке Вилли, неподвижно застывшего с краю.

Дочь в первом ряду в центре была удивительно похожа на саму Дортхен в ее возрасте. Ее улыбка была дежурной и никаких чувств не выказывала. А Гримм как-то неудачно повернулся. Лицо его не было размыто, но копна седых волос, запечатленная под странным углом, походила на парик.

Чем дольше Дортхен смотрела на фотографию, тем увереннее в ее памяти всплывало то, что однажды написал геттингенский ученик: хотя шурин и выглядел худощавым, почти хрупким, в нем было что-то от бойцов старой закалки, которые останавливаются, чтобы снять шлем и сделать глоток свежего воздуха, а потом с новыми силами бросаются в бой. Как закаленные бойцы обретали силу в битвах, так Гримм обретал ее в работе.

Дортхен взглянула на его все еще беспокойное лицо на подушке. *Ничего не изменится...* Но это неправда. Она чувствовала, что сейчас заплачет, и не хотела показывать Августе своих слез.

— Как он? — спросила дочь, эта девушка, которая мечтала о любви до свадьбы, будто любовь можно было принести с улицы, как вязанку дров.

— Кажется спит. Это не может продолжаться долго. — Она сделала паузу, крепче сжала его руку, и это придало ей силы. — Но у него ведь есть своя история. Он это примет.

— Мама...

Дортхен положила фотографию на колени.

— Я видела, что он написал в блокноте. «Сказку, сказку, сказку». Это была хорошая сказка.

Августа медленно подошла к кровати. По смятому покрывалу было видно, где сидел Куммель. Закусив губу, Августа наклонилась разгладить ткань.

— Сядь, Гюстхен, — сказала мать, и та покорилась, повернувшись к ней даже не в профиль, а спиной. Несколько минут они сидели молча, Августа наматывала на руку шаль, не оборачиваясь к матери. Наконец Дортхен заговорила: — Мне кажется, — сказала она тихо, будто слова стоили ей усилий и она свивала из них, как из собственных волос, веревку, чтобы совершить побег из высокой башни, — что ты слишком мало думала о Вильгельме. Возможно, недооценивала его в сравнении с дядей.

— Мама... — Августа все же полуобернулась к ней и, нахмурившись, посмотрела на старика, который как будто спал. — Он, возможно, слышит нас.

Она снова отвернулась, и плечи ее опустились.

— Они подходили друг к другу, — подытожила Дортхен, — как близнецы. Я знала это с самого начала. Они буквально дышали одним воздухом, хотя для обоих это вовсе не было легко. Возможно, ты считаешь, что Вильгельм больше брал, чем отдавал. Но ты ведь не знаешь, как они поддерживали друг друга все эти годы. Даже я всего не знаю, хотя мне известно, что без более светского Вилли «Сказки» никогда не имели бы такого успеха.

Августа покачала головой — молча, недоверчиво.

— Ты считаешь, что твой дядя многим пожертвовал, и это так, но выполнять свой долг было его желанием. — Лицо Дортхен вдруг озарилось. — Долг *был* его желанием. Долг по

отношению к Вильгельму, к матери, к вам, детям. К родине. Для него больше ничего не существовало. Разве ты сама это не поняла?

Августа покачала головой, глядя в пол. Дортхен понимала, что говорит о нем так, словно он уже умер, но иначе она не смогла бы сохранить самообладание. А она обязана была его сохранить. — Полагаю, он мало чего не успел в жизни, и ему мало от чего приходилось отказываться.

Дочь снова обернулась. Ей даже на мгновение показалось, что она улыбается.

— Я имею в виду в личной жизни, — продолжала Дортхен. — Конечно, в сфере общественной деятельности были разочарования. Не мне тебе говорить. Если бы объединение состоялось — мирным путем, как он мечтал, — оглядываясь назад, он, конечно, считал бы, что совершил все в этой жизни.

Августа сжала губы.

— Когда-то он сказал, — пробормотала она, — что ничего никогда не любил так, как родину.

Дортхен помнила. Она помнила свое удивление, обиду и негодование от его слов.

— Думаю, он считал, что так безопасней.

— Безопасней?

— Никто не заставлял его вступать на тот путь, который он выбрал, Гюстхен. У него был выбор. У всех нас, в конце концов, есть выбор. — Она увидела, что Августа пристально смотрит на бессильную руку Гримма, которая много рождественских праздников назад обнимала Дортхен, утешая ее. А кто знает, сколько раз за эти годы в памяти Дортхен оживали те мгновения?..

— А ты? — спросила молодая женщина. — Ты тоже сделала свой выбор?

Глаза ее наполнились слезами. Взглянув на Гримма, она словно спросила у него позволения ответить.

— Для меня всю жизнь существовал лишь один мужчина. Я люблю Якоба, но не как мужа. Нет, не как мужа. — Сейчас она могла так сказать, хотя всего полжизни назад было иначе. Но теперь все позади. Она хотела, чтобы все было позади.

Августа склонила голову. Дортхен не могла понять, оправдала ли своим ответом ее ожидания. Вероятно, нет. Но как ни странно, ей было легко солгать, совсем легко. Дочь замерла и вновь уставилась на стопку непрочитанных журналов. Прошло немало времени, но Дортхен больше не сказала ни слова. Да ей и нечего было сказать. Если кто и мог нарушить тишину, так это Августа. Но она вдруг решительно встала, поглощенная своими мыслями.

— Тогда скажи мне одну вещь, — резко произнесла она. — В ту ночь, когда умер папа, когда ему казалось, что мы — не люди, а картины, что он имел в виду, когда сказал: «Возьми ее обратно. Я всегда лишь охранял ее для тебя». О ком он говорил? О тебе? Или обо мне?

— Ах, Гюстхен, — вздохнула мать. — Он бредил, ты же знаешь.

— Даже если так! Он что-то вкладывал в эти слова. И дядя выглядел потрясенным, когда их услышал.

— Это совсем не то, что ты думаешь. — Дортхен закрыла глаза и прижала руку к губам. Но если бы она обернулась, дочь увидела бы, что она улыбается. А это выглядело бы слишком нелепо.

— Видишь у двери, над полкой для обуви, занавешенный шкаф орехового дерева? — Августа кивнула. — Подойди к нему.

Августа подошла к шкафчику, из которого дядя иногда доставал запонки, булавки для воротничков, спички, шнурки.

— Отодвинь занавеску. Думаю, надо смотреть на средней полке.

Там лежали две свечи, скрепленные воском, чтобы не дать выпасть двум старым, но хорошо сохранившимся фигуркам. Они стояли спина к спине: мужчина в необычной шляпе и женщина с высокой прической в бледно-голубом платье, как носили до Империи.

Августа сразу поняла и, хотя улыбнулась, но вздрогнула, будто кто-то очень ею любимый не просто перешагнул через ее свежую могилу, а остановился, чтобы бросить туда

еще одну горсть земли.

— Осторожно стукни по головке, — сказал мать. — Сбоку.

— Я знаю. — В отличие от маленького человечка в Касселе, эта двигалась не бесшумно. В комнате раздалось тихое пощелкивание, это керамическая палочка ударяла обо что-то внутри фигурки. Августе показалось, что она уже несколько недель слышит этот звук в собственной голове. Не его ли имел в виду Куммель, когда спросил в кабинете дяди, слышит ли она?

— Эти фигурки были у них в Штайнау, когда они были детьми. У каждого по одной. У Вилли была женщина, которая говорила нет. — Голос матери прерывался, и она не могла этого скрыть. — Мужчина принадлежал Якобу. Умирая, Вилли захотел, чтобы обе фигурки были у Якоба...

Августа отступила к стулу, на котором сидела. Она обернулась вокруг себя, прежде чем нашла подлокотник. На ее залитом слезами лице застыла улыбка, поскольку она тоже решила не плакать. *Мы должны продолжать поступать так, как должно...*

— Спасибо, — сказали они хором.

И Августа отступила к двери, словно для того, чтобы лучше видеть дядю. Он был вне ее досягаемости, как и всегда. Но он лежал здесь, зайдя так далеко на этой земле, как только мог, а она не оправдала его ожиданий. Сам сказал ей однажды: есть иные миры, более дальние путешествия.

— Прости, — прошептала она, ни к кому не обращаясь. Щелканье затихало, стало отрывистым: *Нет... нет... нет... нет...* Она хотела подойти ближе, взять его за руку, заверить, что любит его как дядю, как отца, просто любит — очень-очень сильно. Она по-прежнему не знала, кем он ей доводился. Хотя, не исключено, что она никогда не осмелилась бы услышать ответ. Уж точно не от матери. Да и что могла сказать ей эта добропорядочная женщина? Августа уже не ожидала услышать всю правду, как не могла она ожидать увидеть все дерево вместе с корнями — над землей.

— В Геттингене, — сказала она, потому что нужно было что-то сказать, — когда его сослали, он обещал мне, что никогда не поедет в земли, расположенные за пределами этой карты. Я так боялась, что больше его не увижу! Я спросила, поедет ли он в то королевство, что выпало из кармана государя. Помнишь, он рассказывал?

Мать кивнула:

— Конечно. — Борясь со слезами, она взяла его за руку и встряхнула ее, словно он был неисправимым шалуном.

— А если бы он туда отправился, знаешь, что бы он сделал? Собрал бы местные старинные сказки и написал историю местного языка...

Августа наклонила голову.

Как в истории о благочестивом человеке, которую рассказал Куммель, жизнь из нее ушла, душа отлетела; она обратилась в камень, просто в камень. Подойдя обратно к стенному шкафчику, она дождалась, покуда маленькая фигурка женщины перестала качать головой, и вновь легонько стукнула по ней.

Глава двадцать восьмая

Щелк-щелк-щелк... Хотя и перестала жевать, она облизывалась, и этот отвратительный звук не прекращался.

— Хватит! — Он бросился вперед и ударил ее по голове.

От удара из уха пошла кровь. Она перестала облизываться и уставилась на него. Он молчал, она рукавом стерла с губ и подбородка жир, пристально глядя на него: спокойно, без раскаяния — гадина, которой не должно быть места в этом мире, и в то же время — мать, которая ввела его в этот мир.

— Встань! — сказал он.

Она повиновалась, и он отвел взгляд от вертела и пламени, которое занималось ярче,

когда в него капал жир. Он знал, что должен пронзить ее в спину. Насадить на меч и потом зажарить на ее же собственном огне. Он отступил и указал на дверь. Ему нужно было увести ее с чердака, чтобы самому уйти от жара, смрада и мерзости.

Взгляд ее стал недоуменным, но не дерзким. Она не собиралась его умолять. А ему нужно было, чтобы она ползала перед ним на коленях. Это распалило бы его гнев. Она же была как-то кокетливо спокойна.

— Я не хочу, чтобы твоя кровь пролилась здесь, — сказал он, указывая мечом на дверь. — Ты сама выроешь себе могилу. Никому не придется это делать.

Она моргнула, и полуулыбка исказила ее лицо. Поднявшись, она подошла к двери. Он шел сзади, подталкивая ее, когда она замедляла шаг и когда они пересекали двор, направляясь к воротам дворца.

Людоедка, мать, людоедка, мать... Слова пульсировали в его голове. Если она могла наложить проклятие на его будущую жену много лет назад, почему теперь так кротко принимает наказание? Возможно, то, что он — ее сын и вместе с тем палач, что-то значит и для нее.

Часовые на воротах оживились, увидев его с ней, и как она идет, тяжело ступая. Каждый снял со стены горящий фонарь и держал перед собой, как оберег. Если бы король собирался поручить ее убийство им или кому-то еще в королевстве, вид их окаменевших от страха лиц удержал бы его от такого решения. И потом, это была его задача. И ведь она ждала его с того самого момента, как он подъехал к дворцу.

Но он уже думал, как ее удалить, а не о том, как уничтожить. Ему было известно, что существуют другие миры.

— Принесите мне лопату, — велел он часовым.

Один из часовых принес лопату, и король вытолкнул ее на огороженный участок, примыкавший к дворцу. Вкладывая меч в ножны, взял у солдата и фонарь тоже.

— Туда! — Он указал вниз, на склон, и влево, на тонкую полоску сломанных верхушек деревьев, выделявшихся на фоне бледного безлунного неба.

Пробираясь через травы и папоротник, быстрее, чем он ожидал, они дошли до лесочка карликовых дубов. Большинство из них были всего лишь раза в два выше короля, а их безлистые ветви густо переплелись. Почва, на которой они оказались, была влажной, похожей на гумус.

— Стой! — крикнул он, а когда она остановилась, воткнул лопату в землю у ее ноги. — Копай!

Хотя шла она медленно, руки у нее были сильными. Вскоре она уже стояла по колено в яме, достаточно широкой для нее. Раздавался лишь скрежет железа о корни. Птицы не пели, лесные твари не шуршали в подлеске. Фонарь у него в руке перестал шипеть и потрескивать с тех пор, как он отошел от дворца. Иногда он оглядывался, чтобы удостовериться, что близлежащие здания еще на своем месте. С этого места он мог видеть лишь очертания самой старой башни над воротами, и из этой башни все еще валил дым.

Людоедка, мама, мама, *мама*...

Он вновь подумал: перемещение. Живо вспомнил лесоруба Фридриха. Для него Розовое королевство было лишь сказкой. Как-то он и сам провалился в трещину на карте и обнаружил другой мир с его истинами и смыслами. Мертвые были живы на затерянной родине его брата. Там и солома могла стать золотом. И возможно, там его матери не придется быть воплощением зла.

Она не просила передышки. Когда ее было видно лишь до пояса, он наклонился, чтобы поставить фонарь на землю, и сказал:

— Хватит! — Нисколько не утомившись, она передала ему лопату. Он подошел к краю ямы, бросил инструмент к ее ногам и вытащил меч.

Она даже не дрогнула. Взгляд ее не изменился с тех пор, как он увидел ее на чердаке. *Людоедка*... Для такого дела кровь должна бы быть погорячее. И она, скорее всего, догадывалась об этом. В ее глазах он не был ни принцем, ни королем, а всего лишь старшим

сыном. В лесном безмолвии, когда яма была наполовину готова, он все никак не мог истребить свою любовь к ней. И верил, что нашел способ ее не убивать. Возможно, это она ему его и подсказала: вела его сюда, к месту, где на карте пролегает трещина.

Прежде чем он смог заговорить, она легла в яме, откинула голову и вытянула ноги. Расправила запачканное землей замызганное праздничное платье, сложила на животе руки и закрыла глаза.

Есть и другие миры, говорил он сам себе, закапывая яму, сбрасывая на нее землю. Другие миры. Он знал, что в этом мире он ее больше никогда не увидит. Он позволил себе взглянуть на нее, только когда земля уже накрыла ее целиком. Втайне он почему-то надеялся, что рука ее поднимется в прощальном или выражающем презрение жесте. Он бросил в могилу меч и стал копать руками, все быстрее и быстрее.

Разровняв могилу матери, он лег на нее и оставался недвижим, пока фонарь не угас и не взошло солнце. Иногда ему казалось, что он что-то слышит: шум шагов, звон стекла, прощальные крики.

Когда наконец он перевернулся на спину, сплетенные дубы, казалось, аплодировали ему, обнимая друг друга и радуясь его триумфу. Вересково-синие сосны волнами спускались к нему от дворца, как огромный волнующийся океан. Он помнил, как мать запрещала, когда он был ребенком, уходить далеко в лес, и как часто, тайком от нее, ходил в подлесок на опушку. Сквозь сплетенные ветки пробивались нежные солнечные лучи, и золотистое сияние было таким ярким, что он прищурился, и слезы потекли по щекам, оставляя на них тонкие дорожки.

Он еще минуту постоял, затем опустился на колени и начал руками раскапывать яму, захватывая полные горсти земли. К тому моменту, когда он увидел синее платье, до него доносились голоса его возвращающейся армии, которую приветствовали часовые на воротах. Он начал работать еще интенсивнее. Платье лежало ровно, но в нем не было тела. Не было и меча. Осталась только лопата.

Другие миры... Она прошла через них, и этого было достаточно — для него, для его жены и выжившего ребенка, для его послушных слуг.

Закопав яму обратно, он спустился к дворцу, где его ждал поседевший мажордом, потирая правую руку, словно та на время онемела.

Когда король подошел к воротам, волоча за собой лопату, он остановился и оглянулся. Он думал, что вновь услышит шелканье — более яростное, чем раньше, а затем постепенно затихающее. Но этого звука больше не было. И никогда не будет.

Грустно улыбаясь, мажордом покачал головой и увлек короля за собой.

* * *

В воскресенье 20 сентября 1863 года в 10 часов 20 минут в центре Берлина на Линкштрассе скончался профессор Гримм. Ему было семьдесят восемь лет. Вдова его брата Дортхен и племянница Августа после его смерти переехали на Шеллингштрассе. Первая скончалась в 1867 году от воспаления легких, вторая дожила до 1919 года, так и не выйдя замуж. Умерла она в возрасте семидесяти семи лет. Работа Гримма над «Немецким словарем» была продолжена другими вплоть до его завершения — в виде тридцати двух опубликованных томов — в начале 1960-х годов. О Фридрихе Куммеле исторических данных нет.

Спустя восемь лет после смерти Гримма премьер-министр Пруссии Отто фон Бисмарк после серии победоносных войн против Дании, Австрии и Франции объявил о создании единого рейха. Известный как Второй рейх — первым была средневековая Священная Римская империя — он просуществовал до раздробления его союзниками после Первой мировой войны.

Третий рейх создал в 1933 году Адольф Гитлер. Его национал-социалистская партия поощряла чтение немецкими семьями «Сказок для молодых и старых» в качестве

настойной книги, помогающей формированию традиционных ценностей, а также способствующей укреплению силы и единства немецкого народа.

Рассчитанный на тысячелетнее существование Третий рейх пал через тринадцать лет, а Ганау, Кассель и Берлин оказались разрушены и опустошены. Германия же вновь оставалась разделенной вплоть до 1990 года.

Вот моя история, я ее рассказал и оставляю вам.

Примечание автора

Любой, кто хочет больше узнать об историях, вдохновивших меня на этот роман, может начать с «Полного собрания сказок братьев Гримм» (Routledge & Kegan Paul, 1975). Что же до «смысла» сказок, то дискуссионная книга Бруно Беттельгейма «Применение волшебства» (Thames and Hudson, 1976) первой возбудила мой интерес, а из недавних работ доступна и интересна книга Марии Татар «Голые факты сказок братьев Гримм» (Princeton University Press, 1987). «Тропинки через лес» Мюррея Б. Пеппарда (Holt, Rhinehart and Winston, 1971) дают великолепное введение в биографию Якоба и Вильгельма, а «Братья Гримм и их критики» Кристи Каменецки (Ohio University Press, 1992) помещают предпринятые ими исследования сказок в широкий контекст их научной работы.

Согласно Новалису, романы рождаются из недостатка истории. При создании этого романа о жизни братьев Гримм я пытался написать произведение, которое само по себе не являлось бы недостатком. Если мне это не удалось, то не по вине людей, которых я хотел бы поблагодарить за их компетентную помощь в последние три года: Ким Коул, Дэвид Финклин, Джамиля Гавин, доктор Дакота Гамильтон, Антония Ходжсон, доктор Тим Голиан, Стефани ванн Лейвен, Кристофер Литтл, Ник Щепаник и Дейрдре Куниган, доктор Дэвид Стейси, Симон Тревин, Эндрю Уилл, Хилари Райт и — последними, но не по значимости — тех, кому посвящена эта работа.